

# ВРЕМЯ ИДМБД

1976

СРЕДИ НЕВЕРИЯ И СУЕТЫ, В МИРЕ, ГДЕ ГРУБАЯ СИЛА И ЛОЖЬ СТАНОВЯТСЯ  
НОРМОЙ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, МЫ ИСПОЛНЕННЫ ОДНОЙ ЛИШЬ  
ЦЕЛЬЮ—ПОМОЧЬ ЧИТАТЕЛЮ ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬСЯ ВО ВРЕМЕНИ И В СЕБЕ



Авраам Б. Иошуа "В НАЧАЛЕ ЛЕТА — 1970"

— в переводе Михаила Ледера

# ВРЕМЯ И МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ.

№ 10 август 1976

Выходит один раз в месяц

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

Авраам Б. Иошуа

"В начале лета - 1970" . . . . . 3

Соломон Шульман

"Врун" . . . . . 56

"Шлюха" . . . . . 68

### ПОЭЗИЯ

Илья Бокштейн

"Ты на земле ошибка..." . . . . . 79

Рина Левинзон

"Корни" . . . . . 84

### ПУБЛИЦИСТИКА

Артур Кестлер

"Тропа динозавра" . . . . . 90

### ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ

Рабби Адин Штейнзальц

"Религия и мистицизм" . . . . . 114

### КРИТИКА

Илья Рубин

"Раскаяние и просветление" . . . . . 123

ИЗ ПРОШЛОГО

Майя Улановская

"Конец срока — 1976 год". . . . . 140

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Рассказы Сергея Андреева. . . . . 177

"Хрущев и миф о Биробиджане". . . . . 196

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

"Дым отчества" в письмах читателей". . . . . 207

Коротко об авторах . . . . . 214

DIGEST OF 10 ISSUE

OF "VREMIA I MI" ("TIME AND WE"). . . . . 216

Главный редактор

Виктор Перельман

Редакционная коллегия:

Фаина Баазова

Георгий Бен

Лия Владимировна

Егошуа А. Гильбоа

Илья Гольденфельд

Михаил Калик

Михаил Ледер

Борис Орлов (зам. гл. редактора)

Наталья Рубинштейн

Дмитрий Сегал

Йосеф Текоа

Аарон Ярив

Представитель журнала в США Эдуард Штейн

7 Miles Ave, Woodbridge,

Conn. 06525 t. (203) 387-05-97.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, январь 2010 г.  
Библиотека Александра Белоусенко



Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

ПРОЗА

Авраам Б. Иошуа

В НАЧАЛЕ ЛЕТА—1970

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

В стране, где каждые два гражданина готовы создать три политические партии, писатели, к какой бы из противоборствующих групп они ни принадлежали, в художественной практике, как правило, избегают обнажения своих политических позиций. И спор идет о другом: остаться ли литературе привязанной к испытанному и изрядно поблекшему реалистическому способу объяснять и видеть мир или совершить отчаянную попытку проникнуть в экзистенциальную бездну человека, в самые глубины его — туда, где, по меткому слову Екклезиаста, "человек одинок и другого нет".

И тогда не важны ни место, ни время, ни цепь событий, ни даже имя героя — а напротив: чем раскаленнее и смятенней рассказ, тем ближе к сути. Читая, мы вдруг ловим себя на том, что не только жадно внемлем горячечному, невротическому бреду странного героя, но обнаруживаем его внутри себя, точно это именно нас в черноте ночи кто-то окликнул по имени.

Если добавок писатель-модернист еще и нонконформист в жизни, если он ополчается на политические неврозы и социальные мании, срывая с них священные ризы, в которые по обыкновению облачены заинтересованные циники и сбитые с панталыку больные, то не диво, что такой писатель подвергается жестоким нападкам, хотя бы он, по общему мнению критики, ярче всего олицетворял в глазах молодого современника актуальность и злобу наших дней. Именно таким и предстает перед нами А. Б. Иошуа не только в своих

повестях и рассказах, но и в печати, радиопередачах, на экране телевизора.

Оттолкнувшись от Агнона, Бреннера и Кафки, он совершил, однако, гигантский скачок "до самого себя", по меткому определению Шекеда — одного из ведущих наших литературных критиков.

Уже первым своим рассказом "Последний командир", напечатанным еще в 1958 году, А.Б. Иошуа выдвинулся в первые ряды новейшей израильской литературы. С тех пор не прекращаются попытки — у каждого по-своему — интерпретировать его сквозь призму политических неврозов как ниспровергателя святынь. А он, хотя еще его дед родился в Иерусалиме, и впрямь ниспроверяет: смотрит, например, на возникновение христианства как на эпизод нашей еврейской истории и не стесняется публично признаться, что, слушая мессу в Парижском соборе, он чувствует себя гораздо ближе к своему прадедушке из Назарета, чем любой из самых набожных французов; отрицает мессианский характер сионизма, считая вслед за профессором Гершомом Шеломом, что сионизм, наоборот, вернул наш народ на нормальные исторические рельсы; не выносит приговоров не только недоброжелателям, но даже собственным героям, над которыми он ведь вполне властен, и, главное, упорно сопротивляется тем неврозам, не поддаваться которым вполне в человеческой воле.

МИХАИЛ ЛЕДЕР





Авраам Б. ИОШУА

## В НАЧАЛЕ ЛЕТА - 1970

Кажется, мне все-таки придется проверить еще раз тот миг, когда я узнал о его гибели.

Летнее утро, небо разверсто, июнь, последние дни учебного года. Просыпаюсь поздно, несколько ошалело и ныряю прямо в солнце. Не включаю радио, не разворачиваю газету — впервые словно не стало у меня ощущения времени.

В школу прихожу с опозданием, тщетно ловлю в зеленоватом воздухе отголосок замирающего звонка, шагаю по пустынному двору меж квадратами света и тени, отскакивающими от длинного ряда окон, мимо гудящих дверей классов. И тогда я обнаруживаю, к своему изумлению, что за мной мчится директор, зовет меня по имени.

Но уже близок мой выпускной-А, из глубины коридора до меня доносится его сдавленный гул. Они закрыли дверь, чтобы скрыть мое отсутствие, но радостное возбуждение выдает их.

Директор снова окликает меня по имени с того конца коридора, но я не обращаю на него внимания, открываю дверь — прямо в галдеж, хохот и разочарованно замирающий

визг. Они были уверены, что я уже не приду сегодня. Я стою у порога и жду, пока они прекратят возню. Лохматые, с раскрасневшимися лицами, в голубых своих форменных рубашках, они возвращаются на места, двигают табуретками, прячут Библии, и мало-помалу столики покрываются чистыми листами бумаги: они готовы к контрольной.

Кто-то стоит у доски и стирает очередную гадость, какую-то карикатуру на меня. Смотрят дерзко, прямо в глаза, улыбаются друг другу, но молчат: все-таки робеют перед моей бородой.

И тут, когда я, с вопросниками в руке, уже было направился к столу, в класс, запыхавшись и меняясь в лице, врывается директор. Все глаза уставились на него, но он не обращает никакого внимания на ребят, а только на меня: пытается дотронуться до меня, схватить за рукав. Он, с которым я вот уже три года как не сказал ни единого слова, вне себя и шепчет чуть ли не с мольбой: одну минуточку... неважно... оставьте их... пойдите со мной... мне нужно сообщить вам что-то важное... пойдите, прошу вас...

Вот уже три года как мы не разговариваем, а смотрим друг на друга, словно мы камни какие-то. Вот уже три года как нога моя не ступила через порог учительской, я даже не подходил к титану за чаем. В здание школы пробираюсь рано утром, а на переменах околачиваюсь в коридорах либо во дворе: летом — в широкой шляпе, а зимой — в тяжелом пальто с поднятым воротником; так и брожу взад-вперед вместе с ребятами. В секретариат я заглядываю, когда уже никого из учителей не осталось, и то лишь чтобы оставить классный журнал и запастись мелом на завтра.

С остальными учителями я тоже только изредка перекидывался словом.

Три года назад я должен был уйти на пенсию. Я уже совсем было смирился с этой перспективой, носился даже с мыслью попытать силы и написать методическое пособие по изучению Библии, но тут вдруг разразилась война и воздух огласился

грохотом орудий и криком где-то вдали. Я пошел к директору и заявил, что ни на какую пенсию я не уйду, а остаюсь в школе до окончания войны: молодых учителей ведь то и дело забирают, так что небось лишним не буду. Он, однако, не видел никакой связи между войной и мной. "Война идет к концу, — ответил он, улыбаясь как-то странно, — а вы с лихвой заслужили отдых".

Никакого отдыха, однако, не было, а было знойное лето и пылающие газеты. И каждый новый день войны уносил в среднем двух наших выпускников, очень молодых. И снова я у него, сильно волнуюсь, рук не унять и заявляю ему заикаясь, что не вижу возможности уйти сейчас, то есть в такое время, когда на гибель-то мы посылаем их...

Но он не видел никакой связи между их гибелью и мной.

Начались летние каникулы, а я так и не имею покоя, прихожу день за днем в пустую школу, околачиваюсь в секретариате, у двери директорского кабинета, дожидаясь известий, беседую с родителями, расспрашиваю их о сыновьях, смотрю на парней — они уже в военной форме, пришли узнать, какие у них оценки в аттестате зрелости, либо вернуть книги в библиотеку, — и в ноздри мне попадает запах пальбы где-то там. И снова кого-то убило, совсем неожиданно, способнейшего парня, еще из первых выпусков, его все так любили; и снова я у директора, подавленный, сам не свой, и говорю ему: "Вот видите!" — но он теперь так и норовит увильнуть от меня. Распорядился, чтобы оформить мои пенсионные документы, хотел даже устроить банкет в мою честь; я, разумеется, и слушать не стал.

За неделю до начала занятий я заявил ему, что не надо мне зарплаты, лишь бы вернули мне классы, но он уже подписал контракт с новым учителем, и меня уже и в списках нет.

Наступает учебный год. Я прихожу в школу вместе со всеми, таскаю портфель, набитый книгами и кусками мела, и готов начать урок хоть сейчас. Он поймал меня у учительской и в панике спросил — что такое, почему я здесь, но я ему и отвечать не стал, даже не посмотрел в его сторону, все равно как если бы споткнулся о камень. Он, верно,

подумал, что я тронулся, но в сутолоке первых часов нового учебного года ему было не до меня. А я тем временем ловил глазами нового учителя, тощего молодого человека с бледным лицом, и тут же пошел вслед за ним. Он вошел в класс, я выждал минутку и тоже вошел.

— Прошу прощения, — говорю я ему и слабо улыбаюсь, — вы, видно, ошиблись, это не ваш класс, — и не успел он опомниться, а я уже за столом и достаю свою потрепанную Библию.

Он извиняется, что-то бормочет и выходит вон, а я и обалдевшим ребятам — они никак не ожидали видеть меня опять — не дал раскрыть рта.

Когда через несколько минут явился директор, я уже весь ушел в урок, а ребята слушали неотрывно. Просто нельзя было меня оторвать.

На перемене я не вышел из класса и так и проторчал всю перемену среди ребят, окруживших меня со всех сторон. Директор стоял у двери, но подойти не посмел. Если бы подошел, я тут же — на виду у ребят — разорался бы, он это хорошо знал; а больше всего на свете он боялся скандалов.

Вот так — что называется силой — я и вернулся в школу. Ни с кем во взаимоотношения не вступал, только с учениками. Первые недели я старался покидать школу как можно реже, околачивался там даже по ночам. Директор буквально прохода мне не давал, бегал за мной по пятам, говорил, умолял, хватал за рукав, гладил, угрожал, обижался, напирал на принципы, на товарищеский долг, на долголетнюю совместную работу, уговаривал сесть и написать книгу, готов даже изыскать средства на издание, подсылал ко мне людей, но я упорно молчал: опускал голову в землю или задирал ее в небо либо в потолок — так и торчал, точно застывший белый памятник: на углу ли, в коридоре, в пустом классе, а то даже дома в кресле, когда он наведывался, бывало, сам, пока не махнул на меня рукой.

Он намеревался увести меня к себе в кабинет, но мне не хотелось бросить ребят. Сделал несколько шагов в коридоре, остановился и тут же, не спуская глаз с класса, вытянул из него все.

Часов пять или шесть назад —

В Иорданской долине —

Смерть, кажется, наступила сразу —

Жене еще не сообщили, в университет тоже —

Мне первому —

В его бумагах фигурировало мое имя и адрес школы почему то.

Нельзя поддаваться горю...

И тут все померкло. Я никак не думал, что померкнет именно свет.словно свечка, потухло солнце в моих глазах. Ребята, верно, почувствовали, что потухло, но были не в силах сдвинуться с места: им просто никогда не приходило на ум, что может наступить такой момент, когда я буду нуждаться в их помощи. А директор все бубнил и бубнил, да обстоятельно так, будто он все эти три года готовился сообщить мне эту новость. Потом он слегка вскрикнул.

Но я не потерял сознание. Только на мгновение грохнулся на пол, но тут же встал, сам встал, и свет тоже начал возвращаться — правда, мутноватый поначалу, — и вот я уже в пустом классе, сижу на ученической табуретке, смотрю, как валит народ — учителя из ближних классов, любопытствующие ученики, работники секретариата, техработник, — люди, которые вот уже три года как слова со мной не сказали. Вот они все возвращаются, кое у кого даже слезы в глазах, стоят вокруг меня тесной кучей, разбивают мое одиночество.

Он вернулся из США три месяца назад, после долгих лет разлуки. Прилетел с семьей поздно ночью суматошным каким-то рейсом через Дальний Восток. Битых шесть часов

я ждал его в аэропорту; думал, уже не прилетит и придется мне вернуться домой ни с чем. Но в полночь, когда я клевал носом на диване в углу, они подошли ко мне, словно не с самолета сошли, а вернулись с небольшой прогулки; вынырнули из тьмы аэродрома, неряшливо одетые и лохматые, с тяжелыми рюкзаками на спине, а в одном из них — бледный ребенок, устремивший на меня свои мягкие глазки.

Я с трудом узнал сына. Бородатый, грузный и ласковый, в волосах уже пробивается седина, и какая-то новая для меня неторопливость, какое-то спокойствие в движениях. Я уже смотрел на него, как на безнадежного холостяка, а вот он — муж, отец, почти профессор. У меня чуть голова не пошла кругом. И вот он подводит ко мне жену, хрупкую девушку в брюках, с личиком, утопающим в волосах, в растрепанном жакете с бахромой — видно, одна из его учениц. И вот она бросается ко мне, ясно и ласково улыбаясь, очень красивая — то есть в ту минуту она мне показалась такой красивой, — дотрагивается до меня своей прозрачной прохладной ручкой.

А я, у меня сердце переливается через край. Встал сразу тоже, чтобы дотронуться до них, поцеловать — ну, хотя бы ребенка, — но сын-то рослый, дитя где-то высоко, и стоило мне коснуться его, как оно тут же залопотало по-английски; и тоненькая эта ученица тоже затараторила по-английски; словно благодатный дождь, они в два голоса поливают меня непонятым этим английским. Я в недоумении поворачиваюсь к сыну, но он вроде тоже ничего не понял, слушает улыбаясь, затем говорит, что они поражены — до чего же я, мол, на него похож.

Потом таможенная проверка, длинная, беспощадная, точно их в чем-то подозревают. Я стою поодаль и смотрю, как перетряхивают все их узлы, и, когда мы наконец отправились в путь, в темном такси по весенней ночи, — впрочем, вот-вот начнет светать, — ребенок, поникший в своем рюкзаке между родителями на переднем сиденье, совсем уснул. Я же сидел сзади с вещами: гитарой, пишущей машинкой и свернутыми какими-то плакатами — и смотрел, как

узлы, только что снова и наспех уложенные, тихо трещат по швам.

Сын заснул сразу, прикрывая собой спящего ребенка, а на невестку напало вдруг какое-то острое ко мне любопытство. Она не выглядывала в окошко, не смотрела ни на землю, которую никогда не видела до этого, ни на звезды или новое для нее небо, а всем телом перегнулась ко мне, ее волосы даже щекотали мне лицо, и закидывала меня вопросами: о войне, о том, что говорят люди, чего они хотят на самом деле, будто обвиняя меня в чем-то, будто эта война доставляет мне какое-то тайное удовольствие и будто в самом деле возможно что-то другое...

То есть обо всем этом я только догадываюсь, потому что понимаю ее с большим трудом; меня ведь никогда английскому не учили, и знаю я лишь то, что схватывал на лету, буквально на лету, когда в соседних классах шел урок английского, а у моих — контрольная или когда я болтался в пустых коридорах, дожидаясь своего урока. И все же я всеми силами стараюсь понять ее, хоть и ужасно устал и измотался от длинного ночного ожидания в аэропорту. А сын знай спит себе на переднем сиденье, его грузная туша поникла, а голову качает то в одну, то в другую сторону. Так и сижу один на один с ней, вглядываюсь в ее тонкое личико, в тонкие же стекла очков, которые она для чего-то нацепила — сразу видно, интеллектуалка, может, даже из этих новых левых, и вместе с тем чуть-чуть надушенная: до меня явно доносится запах каких-то увядших цветов.

Наконец я отверзаю уста и отвечаю ей. На невозможном английском, ночном, косноязычном и доморощенном, пересыпанном еврейскими словами, без всякой грамматики. Она смутилась на мгновение, пытается понять, наконец молчит и она. Немного погодя начинает что-то тихо напевать.

И вот мы дома, и хоть они и измотаны, а все же проявляют какую-то туристскую сноровку, снимают обувь у порога и ходят по квартире босые, ловко переносят багаж, отпускают шофера, достают спящего ребенка и быстро раздевают вдвоем, натягивают на него какой-то сшитый, видно специально для него, белый балахон и укладывают его на

мою кровать. Затем, словно только сейчас почувствовав собственную усталость, начинают раздеваться и сами, прямо перед моими глазами, ходят потом чуть ли не голые по небольшой моей квартире, а на улице уже почти светло. Стелят одеяла на ковре, и я вижу ее обнаженную грудь, очень белую, а она улыбается мне устало, и тут у меня как-то пропадает охота спать, исчезает совершенно. Я выхожу из комнаты, закрываю за собой дверь, прохаживаюсь туда-сюда по площади, оставшейся незанятой, и дожидаясь солнца. Они спали тяжким сном, и, перед тем как пойти в школу, я еще раз заглянул к ним и осторожно прикрыл их оголившиеся бедра. В обед я вернулся очень усталый, но они все еще спали, все трое; я думал, что тресну от досады. Ведь мне так хотелось поговорить с ним! Пообедал один, пытался прилечь рядом с ребенком и соснуть немножко, но он уже был мокренький, и ничего у меня не вышло. Я встал и порылся в их вещах — может, новую какую-нибудь книгу привезли, газету, — но надоело и это.

Когда солнце начало садиться, у меня терпение лопнуло. Я тихонько открыл дверь и вошел к ним. Они лежали врозь и все так же крепко спали, словно намеревались то, что упустили во время кругосветного своего путешествия. Я снова нагнулся, чтобы прикрыть ноги невестки, одеяло же, которым накрывался сын, я со злостью сдернул в сторону.

Он проснулся нехотя и не сразу. Голый, волосатый, грузный, он все сопел и сопел, наконец продрал глаза и, увидев меня над собой, испугался, словно не узнал.

— Ну, как ты? — спросил он с пола, когда очухался.

— Все так же хожу в школу каждое утро, директор по-прежнему ничего не говорит, — шепнул я ему в ответ.

Он сначала не понял, хоть я ему и написал обо всем обстоятельно, как на духу. А может, он тех писем вовсе и не читал. Тишина сгущается. Слышно только дыхание молодой жены рядом. Постепенно к нему возвращается благодущие, он натягивает на себя одеяло, глаза у него улыбаются.

— Все Библию преподаешь?..

(Больше ему нечего сказать мне.)

— Да, конечно. Чего же еще?

— Ну, тогда все нормально, — не перестает он улыбаться.  
 — Да, нормально. — И после продолжительного молчания: — Если не считать ребят, которые гибнут то и дело, — шепотом бросаю я ему в лицо.

Он жмурится. Затем садится. Кутается в одеяло, борода торчит во все стороны, достает трубку, сует в зубы и принимается размышлять вслух, точно древний пророк какой-нибудь, объяснять, что войне вот-вот конец, разве я не чувствую, что она идет к концу? Сколько же можно! Просыпается и жена, садится с ним рядом, тоже кутается в одеяло, бросает мне лучезарную улыбку, готовая включиться в дискуссию, изложить свою точку зрения, тут же, даже не помывшись, даже не попив водички, с глазами, все еще опухшими от сна, в сумраке весенних сумерек необуранной комнаты, согретой их телами.

Шагаем по коридору в сторону директорского кабинета, небольшая траурная кучка, я посредине, словно важный гость, либо пленник. Двери классов приоткрываются чуть-чуть, точно от напора занятий, и учителя, классные доски, ребята, вся школа смотрят на меня, будто открывают меня заново.

...А мы и не знали, что он у вас вернулся, вы ж ничего не сказали, вы же все молчите. А я думал, что вы вряд ли его еще помните, хотя он тоже, конечно, учился в этой школе. Сколько ему лет? То есть сколько лет ему было? Тридцать один. Господи, когда же это все кончится! Такой молодой! Ну, не такой уж молодой, я даже был поражен, когда он сошел с самолета. Постарел, конечно... И сразу на фронт? Не дав даже передохнуть? Нет, почему же? Дали три месяца. Идут-то нынче все, а он и не воевал вовсе. Но сразу в Иорданскую долину? Значит, не повезло. Признаться, я и сам не думал, что он еще годен на что-нибудь; он же был уверен, что пошлют караулить объекты там же, в Иерусалиме...

Пересекаем двор наискосок, он совершенно пуст и прямо горит на солнце.

...А как же теперь жена? Она американка, даже слова не знает на иврите. У нее кто-нибудь есть в стране? Нет никого. А ребенок, сколько лет ребенку? Еще совсем маленький; пожалуй, годика три ему. Кто же теперь будет с ними? Как кто? Я с ними и буду...

И снова мы шагаем по коридору — уже по другому, — снова классы, двери, и парень один, весь красный, в форменной голубой рубашке бежит за нами.

В чем дело? Да вот, учитель забыл портфель и книги. Вот как! Не важно, дай сюда, я передам. А что вы там делаете в классе? Ничего не делаем... То есть сидим и ждем... мы ужасно потрясены... Может, вы все-таки допишете контрольную? Как, одни?.. Почему бы нет?..

Наконец мы в кабинете, головы у всех опущены.

...Уже годы и годы, как я к вам не заходил в кабинет. Да, как это было все не нужно, эта размолвка между нами. Садитесь, отдохните, наберитесь сил — впереди у вас еще много чего. Я и сам ведь не в себе: просто не мог поверить, когда мне вдруг позвонили. Может, позвонить в часть? Вы не хотите поговорить с ними? Нет, не нужно. И то. Пусть лучше приедут за вами. Может, позвонить, чтобы они сообщили жене? В университет? Нет, не нужно, я сам. Поеду вот в Иерусалим, не хочу, чтобы кто-нибудь меня опередил. Но это же невозможно! Вы одни не справитесь. Нужно позвонить в часть, они приедут за вами. Ведь и в больницу кому-то нужно будет сходить... то есть, чтоб опознать... ну, вы понимаете... Я сам и опознаю. Зачем вы встали? Сидите. Может, вам что-нибудь нужно? Вся школа к вашим услугам. Только скажите, мы все сделаем. Мне ничего не нужно, только бы уже уйти, мне нужно уйти. Хорошо, пойдете, я провожу вас. А может, подбросить вас на машине? Ну зачем? Я ведь живу тут недалеко. Вы зря нажимаете на меня так, как бы со мной не сделался приступ опять...

Но он упирается и все-таки провожает меня. Бросает школу, беспокойное свое царство, и идет рядом, несет мой портфель, пиджак, потрепанную мою Библию. В его глазах слезы, точно погиб не мой сын, а его. На каждом углу я пытаюсь увильнуть от него — хватит, мол; отсюда я пойду сам, — но он и слушать не хочет, будто боится оставить меня одного. У подъезда, под синим утренним небом, мы наконец останавливаемся. Стоим точно две каменные скалы, покрытые белым мхом, а над нами — точно дым — выются слова утешения, в которые он не верит, а я не слышу.

Наконец он умолкает. Последнее слово замирает на его устах. Я беру свои вещи, пиджак. Библию, портфель, настойчиво прошу его вернуться в школу, но он упирается, точно боится, что я вот-вот снова упаду. Я протягиваю ему руку, он хватается ее, держит крепко и не отпускает, точно я каким-то таинственным образом приобрел вдруг какую-то позицию силы, точно он теперь никогда уже не сможет расстаться со мной.

А я оставляю его у подъезда, вхожу в дом и застаю там какое-то незнакомое освещение, свет будничного утра. Я опускаю жалюзи (он все еще стоит у подъезда), раздеваюсь и иду мыться. Я знаю, ко мне будет подходить сегодня много народу, они будут дотрагиваться до меня, так что я долго стою под душем. Стою голый, сильно стучит в висках, а я пытаюсь сообщить о его смерти жене, на ломаном английском, залитом водой. Стряхиваю воду, вытираюсь, надеваю свежее белье, достаю из шкафа толстый черный костюм и надеваю его. Опять выглядываю через щели жалюзи — директор все так же стоит у подъезда, погруженный в мысли, отрезанный от всего мира, и тогда я немного прибираю, выключаю телефон, закрываю последние жалюзи, и вдруг, точно кто-то с силой толкнул меня, валюсь на ковер, на котором они спали в ту ночь, и безудержно рыдаю. Потом я встаю, в квартире вроде темнее стало, а у меня болит голова. Слабым голосом зову директора, но его уже нет, он ушел, на улице теперь пусто; пожалуйста, проходите...

А затем ужин на веранде, весенним благоухающим вечером, под сенью дерева — ветви все в цвету. Они сидят все трое, щеки у них порозовели от сна, а я, ужасно уставший, с трясущимися коленками, ставлю перед ними хлеб и воду. Они достают из рюкзаков консервные банки, которые они привезли из своих странствий, и принимаются есть, словно они все еще в пути и сделали вот привал между двумя стоянками. А ребенок так и сидит в своем белом балахончике, сидит прямо, глазки блестят, болтает без умолку, спорит со сверчками в саду.

Сын весь ушел в еду; вдруг на него напал аппетит — онковыряет в банках, отламывает хлеб, глаза у него влажные, и я тщетно пытаюсь расспросить, над чем же он работает, что именно изучает, какой предмет собирается читать здесь, не привез ли с собой новую благу весть какую-нибудь. Он посмеивается, пытается что-то объяснить, мямлит, ничего у него не получается, да я и не пойму. Может, все-таки пойму? Вряд ли. Он бы дал мне почитать, но я все равно ничего не пойму, тем более что все ведь по-английски. Это нечто совершенно новое, нечто связанное с историей и статистикой; один уже подход — целая революция...

Он продолжает есть, борода пересыпана крошками, мощную шею нагнул, жует молча, а я увиваюсь вокруг него, тянусь к нему, сутки как не смыкал глаз, говорю хрипло, с надрывом, пылающим голосом — про войну эту нескончаемую, о нашей изоляции, об утренних газетах, о том, что ребята в школе слушают плохо, о льющейся крови, о долгих часах в классе, об истории, разваливающейся на наших глазах; а рядом болтает мальчик, по-английски и без умолку, визжит и поет, бьет ножом по пустой консервной банке. Ночь тем временем вызвездила небо, невестка широко, взволнованно смотрит, улыбается мне, не понимает ни полслова, а все-таки слушает напряженно, восторженно кивает головой. Только сын слушает рассеянно, мне знаком этот его отсутствующий взгляд, он думает о чем-то другом, далеком, чужом...

А ночь опускается все глубже, каждый час я включаю приемник и слушаю последние известия; четкий голос диктора нещадно лупит в темноте, а сын ругает там кого-то, кто с ним не согласен, затем встает и начинает ходить по садику. Внук затих, сидит и рисует на огромных листах — ночь, меня, кузнечиков, которых он еще и в глаза не видел. И снова невестка рядом, я ей, видно, нужен все-таки, а английский мой ей нипочем. Она что-то медленно говорит мне, точно я тупоумный школьник, ее весенняя кофточка полуоткрыта, волосы откинута назад, на лбу черная лента, а сама — ни дать ни взять школьница, из той категории, в какую я много, много лет — световых лет — назад мог бы влюбиться и бегать за ними годами — в душе.

А ночь все тянется, точно наваждение, и нас начинает обдавать росой. Вдруг она загорается, решает спать в саду, выносит одеяла и прикрывает одним малыша, опустившего голову на свои бумаги и мирно заснувшего, прикрывает и меня, и мужа, задымившего уже трубкой и крепко задумавшегося Бог знает над чем; он только время от времени перекидывается с ней парой быстрых английских фраз и целует ее с пугающей какой-то серьезностью.

А я пытаюсь уговорить их остаться еще хотя бы на один день, но они не могут, они должны устроиться, найти жилье, садик для малыша; я беру свой транзистор, оставляю их в саду, а сам ложусь и тут же засыпаю. Лишь утром я вижу еще только, точно сквозь сон, как они выносят свои узлы к черному такси, которое должно доставить их в Иерусалим.

А вот и ты едешь в Иерусалим — без всяких сборов, без сожаления, точно птица. Канун субботы, ясное утро, ты сидишь в прямом автобусе, пассажиров мало, почти все они листают газеты, и уже не ползешь крутыми поворотами, но летишь с визгом по раздавшейся вширь долине, меж посторонившихся деревьев, так что уже и не знаешь — в гору ли едешь или под гору.

И вдруг как закричишь! Или тебе только показалось,

что ты закричал. Так или иначе, а с изумлением смотришь, как пассажиры откидываются на высоких сиденьях, а газеты как бы на мгновение застывают в их руках. А ты встаешь и начинаешь прохаживаться по автобусу, и по одному тому, как они на тебя смотрят украдкой, ты догадываешься: опознали и тебя, и боль твою, но помочь, увы, ничем не могут. Ты чувствуешь, что вот-вот обдашь их всех блевотиной, но они что-то шепчут водителю, тот останавливает автобус, ты сходишь по металлическим ступенькам на обочину, где желтая полоса, кучки грунта и остатки асфальта, тебе кажется, что ты вот-вот облюешь весь этот ландшафт, горы, сосны, но не тут-то было: тебя обдаёт свежий ветерок, дышать становится легче, а навстречу, далеко в стороне, точно по другому совершенно шоссе, летят легковые машины в долину. А ты возвращаешься в автобус, бормочешь извинения, пассажиры добродушно улыбаются: ничего, с кем не бывает...

Не проходит и часу, и вот ты уже тащишься по холмам Иерусалима, утопаешь в невыносимо, до боли, ярком солнце, и пробираешься к дому убитого сына, в пограничном — еще недавно — районе, где из развалин вырос жилой квартал. Каменные переулки покрываются асфальтом, древние выгребные ямы присоединяются к канализационной сети, руины превращены в жилые дома, а во внутренних дворах ползают на четвереньках малыши. Наконец-то нашел дом, дотрагиваешься до обитой железом двери — и она тут же открывается, зато дышать становится нечем, так как весть, которую ты принес, застряла в горле. Ты тихонько входишь в квартиру, но там все вверх дном — идет уборка: шторы отдернуты, стулья торчат ногами вверх на столах, вазоны отдыхают в креслах, посреди комнаты валяются половая щетка и совок, ведро и тряпка. А из радиоприемника громом льются арабские марши в исполнении хора и барабанов; служанка, очень старая арабка, что есть силы выбивает красный ковер. Ни невестки нету дома, ни малыша. Ты едва плетешься, спотыкаешься об огромные, стертые прежними поколениями каменные плиты и из далеких глубин, под громовую арабскую музыку, пытаешься выжать из себя несколько арабских слов: "Я асмай...эль валад...абни...мэт..."\*

\* Послушай... дитя... мой сын... умер (арабск.).

Удивительнее всего то, что она нисколько не испугалась моих воплей: она сразу поняла, что я тут свой человек, что ворвался не просто так; может, сходство какое-то заметила. И вот она медленно подходит ко мне, с выбивалкой в руке, очень старая (и где только они ее нашли?), вся в морщинах и, верно, глухая — радио-то гремело на полную мощность. Я снова что-то ору, показываю рукой на приемник, она кидается к нему, приседает у очень сложного на вид аппарата с множеством динамиков, нажимает какие-то кнопки, и пение замирает; остается только приглушенный барабанный бой из скрытого какого-то динамика. Затем она возвращается ко мне — ни дать ни взять ссохшаяся обезьяна, согнутая в три погибели, закутанная во множество одежд, с огромным платком на голове; вернулась и ждет.

— Абни... — делаю я новую попытку и умолкаю. Меня душат слезы, я начинаю мотаться по квартире между опрокинутыми стульями и комнатными растениями, с которых капает вода, между картонными коробками (все еще не распакованными), трансформаторами и пластинками, разглядываю за американским этим балаганом квартиру сына, в которой мне так-таки не довелось еще побывать; она за мной, под бой барабана, босая и с выбивалкой в руке, поднимает с пола то один предмет, то другой, передвигает кресла, опускает шторы и лишь еще больше усугубляет развал.

И вот я в спальне, а там постель так и осталась неубранной, всюду валяются длинные платья, на простыне и на подушке заметны углубления лежавшего тела; а в углу все те же картонки одна на другой.

Надо будет приготовить квартиру к трауру...

Я сажусь на кровать, смотрю на выгнутые линии сводов, начинаю постигать план этого дома, а старушка не отходит от меня ни на шаг; думает, видно, что нельзя оставить меня одного, хочет помочь, прислуживать мне; ждет, может быть, чтобы я прилег, и тогда она меня прикроет, и опять я пытаюсь объяснить ей все очень тихим голосом.

— Абни мэт... валди...

Наконец-то она поняла.

— Эль заир? — спрашивает, точно у меня много сыновей.

Я встаю и в отчаянии пытаюсь избавиться от нее, но она уже привязалась ко мне, смотрит так преданно — может, потому, что я такой старый, — ждет приказаний; видно, свыклась уже с мыслью, что в этом доме она никогда не поймет, что ей говорят, но она совершенно потрясена, когда я начинаю убирать спальню. Я складываю постельное белье (между скомканными одеялами обнаруживаю телефон и тут же выключаю его), набрасываю на кровать покрывало, складываю платья и заталкиваю их в картонки, а там обнаруживаю пеленки, совершенно новенькие, в целлофане, толстые пачки пеленок, словно они собирались произвести на свет племя целое.

А в той комнате по-прежнему бьют барабаны...

А беспокойная старуха все крутится около меня, хочет помочь, но не знает как, вдруг начинает говорить: не то рыдать, не то вопить, все снова и снова повторяет одни и те же слова, пока я понял наконец — она подумала, что речь идет о малыше.

— Нет, нет, не малыш, — пригибаюсь я к ней, и в нос мне ударяет запах дымных костров. — Его отец...

Но от этого ей не только не легче, а наоборот, она визжит еще пронзительнее.

— Как, его отец...? — ей просто не верится, и она пятится

Но меня внезапно охватила тревога о малыше, я хочу найти его, привести домой, она сразу поняла, схватила меня за рукав, потащила к порогу, и, размахивая руками и вопя, она показала мне дорогу, в сторону узких переулков, в детский сад.

И вот я в залитой солнцем комнате, дети сидят со скрещенными на груди руками на маленьких стульчиках, расставленных по кругу, все в голубых передничках — своего

\* Маленький? (арабск.)

я почему-то не вижу, — сидят очень тихо и прислушиваются к неторопливому, уверенному, с напевом, голосу воспитательницы. Уже много, много лет, как я не видел такого спокойствия среди детей, я даже не представлял, что они вообще способны вести себя так тихо. А тут вдруг я врываюсь, точно в бреду, весь в черном, шагаю через кучи огромных кубиков, все ищу и ищу его, и именно здесь, в детском садике, у меня что-то надрывается внутри; мне так и хочется опуститься на колени возле маленьких этих полотенец, вывешенных в ряд, у рисунков, разбросанных по стене. И тут же короткий вскрик воспитательницы.

Беда у нас случилась —

Сегодня на рассвете —

Но она, бледная вся, не уловила фамилии, думает, это я над ней насмехаюсь или что попал, может быть, не в тот садик, но тут вдруг выпрямляется он сам, вырастает на своем месте, точно стебелек, очень серьезный, все еще со скрещенными на груди ручонками, молча демонстрирует, что он мой, внимательно выслушивает воспитательницу, которая вдруг все поняла, подошла к нему, обняла, говорит ему что-то по-английски, поднимает его на руки и выносит из круга. И вот уже ему надевают на шею сумочку для еды, на голову — синюю шапочку, он еще о чем-то просит на своем языке, и ему немедленно дают картинку, которую он нарисовал в это утро; сквозь туман, застилающий мне глаза, я вижу — на листочке сплошное красное солнце, разбрызгивающее лучи во все стороны. И вот уже его ручка в моей, и мои пальцы смыкаются вокруг нее. Все-таки дали мне его, хоть я ничего им и не рассказал толком, хоть я и мог быть случайным стариком, который зашел в детский сад, чтобы увести оттуда ребенка.

И снова я у них на квартире. Босая арабка ходит неслышно по кухне. Малыш тоже там, он обедает сегодня раньше обычного. Время от времени слышно несколько ласковых фраз. Она говорит ему что-то по-арабски, а он отвечает по-англий-

ски. Через открытые окна доносится далекий шум. Мы ждем теперь только его мать. Пройдет день, два, и все тут изменится: в комнаты набьется народ, а месяца через два и вовсе ничего не останется. Она запихнет малыша в рюкзак, наденет его на плечи и вернется туда, откуда приехала. Вот, над вещами, точно легкое облачко, уже вьется запах тлена. Я отыскиваю его рабочий закуток, вхожу и закрываю за собой дверь. Темновато здесь и прохладно. На полу кучи книг, а стол завален бумагами. Он оставил все как было и ушел на фронт. Безумие поколений. Я обхожу стол кругом, дотрагиваюсь слегка до его бумаг. Тут сам черт ногу сломит. Вот уже пятнадцать лет как я не проверял его тетрадей. Тщетно пытаюсь сделать, чтобы было немного светлее. Ставень заклинило, не открывается никак. Возвращаюсь к столу. Над чем же он работал, какие у него были планы, с какого боку мне тут подойти? Тронул первый слой — и сразу на пол посыпались счета за телефон, за свет, циркуляры из университета. Он тоже что-то вроде учителя. Берусь за второй слой — опять выписки из банковского счета, толстые иллюстрированные журналы на английском языке, о которых я никогда и не слыхивал, рекламные портреты мужчин, часто наполовину голых, в патлах, жирные и тощие революционеры, как видно, демонстрируют новые "бабочки" либо полосатые брюки; миниатюрные электрические приборы сомнительного назначения, а вот и его трубка, и в нос мне ударяет запах какого-то незнакомого табака. Таинственные опознавательные знаки моего сына. Мой мальчик! У меня опять кружится голова, застилает глаза. Я опять иду к окну и изо всей силы пытаюсь раздвинуть жалюзи. Лишь световая пыль да тоненькая струя воздуха. Сквозь щели мне открывается новый вид на вади\* — оно все в цвету, — а на той стороне — новые университетские корпуса. Возвращаюсь к столу, продолжаю рыться. Какие-то оттиски, полученные от коллег. Статистические диаграммы каких-то ценностей. Надо будет прочесть когда-нибудь и это. Ключки бумаги, исписанные его почерком, названия книг. Соблазны новых

\* Вади — овраг, ущелье (арабск.).

идеологий. Кладу в карман от всего понемножку. А вот и нечто осязательное: стопка листов, исписанных его почерком, — наполовину по-английски, наполовину на иврите. Заголовок — **PROPHECY & POLITICS**. Может, новая книга или статья. Выдвигаю ящики — вдруг там личный дневник или что-нибудь в этом роде, — но как раз они-то и пусты. Еще трубки, неисправная фотокамера, мешочки со старыми лекарствами и фотокарточки жены, прямо-таки неприлично молодой, ну девчонка, — на фоне деревьев, горы, автомобиля, реки. А дальше, на самом дне ящика, маленький острый ножик с инкрустациями, на нем выгравировано слово **PEACE**.

Слышу, открывается входная дверь, стучат легкие женские шаги и звучит ее смех. Тут же певучий голос малыша, жаркий шепот арабки. И уже меня заливают снопы света, проникающий через отворяющуюся дверь. Она в легком платье, чуть потная, сумка висит через плечо, темные очки — ну туристка. Стоит изумленная неожиданной моей вылазкой, пытается улыбнуться мне, но я утонул в кресле по другую сторону стола, неуклюжий, весь в черном и держу в руке ножик.

Она делает несколько легких, быстрых шагов в мою сторону, внезапно останавливается, что-то чувствует, на нее нападает страх, точно от меня на самом деле веет смертью.

— **SOMETHING WRONG?**— дрожит ее голос, будто именно я вот-вот умру или скрываю под костюмом смертельную рану.

Я выпрямляюсь, выпускаю из рук ножик, снопы теплого света так и бьют по мне, делаю несколько шагов, вхожу в тень. Бормочу утреннюю новость на древнем, библейском иврите, знаю — она ничего не понимает, да и слова застревают в горле. Меня заливают вдруг острая жалость к ним, я глажу малыша по головке, наклоняю голову перед старой арабкой и следую дальше — через теплый свет квартиры, через входную дверь, которая так и осталась открытой, — в сторону все более и более открывающегося передо мной оврага, в сторону университета. Надо будет позвать оттуда кого-нибудь на помощь.

По прямой — чуть ли не воздушной — линии я пересекаю вади. И тут, в зарослях, в цветущей этой впадине, надо мной на мгновение исчезает солнце, и я всей душой, в каком-то голодном экстазе, отдаю тебе, только тебе. Убитый мой! Единственный! Зову из бездны, вот уже и полдень прошел, суббота на подходе, а никто в Иерусалиме не знает, что тебя уже нет. Твоя жена так и не поняла ничего. Я допустил ошибку: все-таки надо было дать властям выполнить свои обязанности.

Кругом скалы, склон ужасно крутой, кустарник растет неизвестно откуда — земли-то никакой не видно, — путается в ногах, и кто бы мог думать, что в двух шагах от университета такая глухомань.

Наконец-то я взглянул на твои бумаги. Ты напрасно боялся, что не пойму. Я понял сразу, ты меня с ходу вверх в восторг, в жар, в отчаяние. Ты вернулся, чтобы прорицать здесь, я с тобой, сын человеческий, я набил карманы твоими бумагами, возьму вот и засяду за английский по-настоящему, поднимусь на горы и буду ждать вдохновения.

И вот я пробираюсь через колючую проволоку, идущую вдоль университета, у бокового фасада одного из мраморных корпусов, держу в руке сучковатую ветку; давно я уже здесь не был, и расположение корпусов опять какое-то не то. Ищу твой факультет, блуждаю по коридорам — между кислородными баллонами, темноватыми лабораториями, маленькими библиотеками, оранжереями и гудящими компьютерами, а городок университетский пустеет на моих глазах, студенты уходят все.

На площади у центральной библиотеки я останавливаю в отчаянии последнего из профессоров, нагруженного книгами, но он не слышал твоей фамилии и в смущении показывает мне, как пройти в контору. А оттуда группами выходят служащие, выслушивают меня внимательно, говорят, что телефоны уже все отключены, да и не вправе они принимать от меня такое известие. И до меня вдруг доходит, что они меня принимают за полоумного или за вечного какого-

нибудь студента, чудака, который хочет обратить на себя внимание. Ничего удивительного — черный костюм, довольно запыленный, в руке эта палочка. Палка подозрительнее всего.

И я тут же бросаю ее, прямо на площади, и бегу назад на факультет, попадаю в освещенный какой-то холл с множеством ярусов, по самому верхнему ходит толстый привратник и возится со ставнями. Из глубины, с самого низа, я ору и спрашиваю о тебе, а он-то как раз и слышал твою фамилию, помнит тебя даже в лицо: "Это тот новый профессор с растрепанной бородой?" — спрашивает, спускается ко мне, гремит ключами и проводит меня в твой кабинет в конце какого-то коридора. На двери кабинета висит длинный список студентов, желающих записаться на твой курс, рядом извещение секретариата, что тебя забрали в армию и, значит, тебя не будет, а еще рядом — список книг, которые ты предлагаешь своим студентам прочесть, пока тебя не будет. Я все эти бумаги снимаю, переворачиваю, складываю в одну и пишу на обороте первое траурное объявление. Привратник читает его из-за моей спины и как раз он-то верит мне сразу, приносит мне еще кнопок, чтобы как следует прикрепить эти бумажки к двери.

Потом мы спускаемся по ступенькам, я рассказываю ему о тебе все, и наши шаги гулко звучат в пустом здании. Сумрак здесь приятный, глаза прямо отдыхают, я немножко задерживаюсь, шагаю еле-еле, я бы с удовольствием пробыл здесь еще немного, но на привратника нападает вдруг нетерпение, и он энергично выпроваживает меня из корпуса вон, на пылающее солнце.

А оно и впрямь пылает с каким-то сладострастием, словно готовит земной шар к последнему и решительному пожару. А я сказал в опрометчивости моей — начало лета, когда оно уже в самом разгаре. И снова я околачиваюсь в пылающей одежде между корпусами, этими запертыми уже лабораториями духа, ступаю по вялой траве иерусалимской,

меня так и тянет к стайке американских студентов, которая, пожалуй, одна только и осталась во всем городке; они загорают упиваясь солнцем на одном из газонов, босые, бородастые, некоторые даже полуголые, положив под головы тетради и Библии на английском, прокручивают какую-то поп-музыку на карманных своих магнитофонах. Еще издали они окликают меня YOU GUY, точно хотят, чтоб я к ним подошел. А я и в самом деле подхожу, вхожу в самую середину, шагаю через ноги, задеваю их белые нездешние тела, хлопаю по ним веточкой — она у меня снова в руке. Ведь если бы я тогда крепко захотел, я бы тоже мог стать профессором здесь.

А где-то там на горизонте — горы Моав.

Они смеются, вялые такие, может, и наглотались чего, говорят мне: "YOU OLD MAN", — думают, чего доброго, что я спекулянт, пришел продавать им наркотики. Но все равно я им пришелся по душе. "YOU'RE GREAT", — говорят, катаясь по земле, по чахлой траве, не знают ни слова на иврите, только третьего дня их выгрузили в аэропорту. Я нагибаюсь к ним, готов хоть сию минуту устроить им экзамен, проверить их знания по Библии, начинаю беседовать с ними на своем ломаном, невозможном английском, который — удивительное дело — им вдруг совершенно понятен.

— HEAR ME CHILDREN MY SON KILLED IN NIGHT, IN JORDAN I MEAN NEAR THE RIVER... — и протягиваю руку к горизонту, исчезающему в синей дымке.

А они все смеются, приходят в восторг, говорят: "WONDERFUL" — и хлопают меня по спине, готовые привлечь меня к себе, включить в свою компанию, осквернить этой музыкой, ритм которой становится все быстрее и безумнее.

"...Я очень благодарен вам, любезный друг, что вы впервые предоставили мне почетное право произнести вместо вас прощальную речь перед нашими выпускниками на церемонии вручения свидетельств об окончании школы. Я знаю, это вам далось нелегко. В конце концов, вы уже много

лет не проводили ни одного урока, не пачкали рук мелом, не притрагивались к красному карандашу для проверки контрольных. Вы уже давно не торчите перед учащимися час за часом, так как занимаетесь организацией учебного процесса, которая вам дороже самого образования. Несмотря на это, или именно поэтому, вы с нетерпением ждете торжественного часа, когда сможете выступить как представитель интеллигенции в присутствии наших измученных родителей перед этими молодыми людьми, в особенности в эти необычные наши дни.

А кто не обрадуется нынче возможности выступить перед молодежью. Ведь нас буквально снедает вождение обратиться к вам, дорогие ученики, лохматые, косноязычные, несколько даже, что ли, туповатые, взрослые недоросли, лишённые идеологии, гоняющие на отцовских машинах, пляшущие какие-то дикие танцы в подвалах, бесстыдно обнимающиеся в подворотнях, и вместе с тем — такое умение, такая готовность умереть. Копаться в бункерах месяцы целые под непрерывным огнем, бросаться в ночные атаки сквозь неприятельскую колючую проволоку, такие молодые и такие, в сущности, дисциплинированные, все снова и снова поражающие нас своей послушностью. Разве не так, дорогие родители?

Уважаемые родители, я выступаю перед вами не как старейший учитель, а как человек, который перестал быть отцом. Вот я стою перед вами, я не готовился к этой встрече, а пришел как есть, заросший от траура бородой, в будничной темной одежде. Нет у меня для вас никакой благой вести, но мне хочется приободрить вас. Вот и у меня погиб сын, не такой уже и молодой. Мы думали, его пошлют караулить объекты в том же Иерусалиме, а на самом деле послали в Иорданскую долину. Тридцать один год ему было. Единственный сын. Любимый. Дорогие родители, ребята, я не хочу расстраивать вас еще и моим горем, но прошу вас: взгляните в меня хорошенько, дабы вас не захватило врасплох, потому что, если разобраться, сам я был в некотором смысле готов к его гибели, и именно это помогло мне выстоять в страшную минуту.

И уже в ту пятницу, когда мне сообщили о его смерти, еще до того, как я отправился опознать его, когда я скитался по газонам между корпусами университета, уже тогда я начал думать о вас, о словах, которые я вам скажу, о том, как из личного горя каждого засветит всем нам общая правда...".

Из далекой дали, из-за летних облаков, словно на аэрофотосъемке, я гляжу вниз на самого себя. Ничтожная песчинка отрывается от белесых кубиков и медленно катится по нескончаемой асфальтовой реке. Перекресток. А вокруг — сердце государства: громоздящиеся министерства, красноватое здание Кнессета, сверкающий белизной музей, сосны, похожие сверху на мягкий мох, холмы с изъеденными склонами, оскопленные скалы, ленты шоссе друг над дружкой, явные потуги опрокинуть ландшафт. С востока ползет черное чадающее пятно, останавливается у песчинки и заглатывает ее.

Это — старое такси, его точно выкатили со свалки, и я падаю на пропитанную потом и изодранную обивку сиденья и показываю ему направление.

На юг. Сквозь раскаленный воздух упрямо так и прет. Кладбищенская гора, могилы, извивающиеся какой-то издерганной вязью, а вокруг еще и еще здания, большие жилые кварталы, леса, краны, точно установки для запуска ракет. Дома будто совокупаются между собой. Неземная сила каменных самцов.

А шофер — небритый малый без возраста — лузгает семечки, что-то хрипло напевает, неотрывно поглядывает на меня в зеркало, готов вступить в беседу.

Но я опускаю веки.

Такси петляет по крутому склону, спускаясь в вади и волоча за собой развевающийся плотный шлейф. А вот и больница. Опрокинули красную скалу и встала плотина, вся в окнах, безмолвствующая в зное, и маленький вертолет кружит над ней, точно хищная птица.

Из моей одежды торчит трава. Я подремываю, что-то мне грезится не то наяву, не то во сне. Машина гремит, дверцы стучат, окна дребезжат. Визг рессор ввергает шофера в какой-то экстаз. Разочаровавшись во мне, он принимается петь во весь голос, ничуть меня не стесняясь, бьет рукой по баранке.

Но я витаю где-то высоко, все пытаюсь обозреть ландшафт. Длинные ущелья тянутся от Иерусалима до самых гор Хеврона, льются, вгрызаясь в обнаженные извечные холмы. Масличные рощи, каменные ограды, овечьи стада, распрекрасный вид, древнее величие, неизменное, тысячи лет, а оттуда, если смотреть с высоты, видно и море, и каемка пустыни. Жуткая страна нещадно хватает меня за затылок.

Я слегка дотрагиваюсь до затылка водителя, он обрывает пение на полузвук. Начинаю говорить, он сначала не понимает, думает, что я тронулся умом. Но на коротком расстоянии, оставшемся до больницы, я успеваю рассказать ему главное.

Вот, тридцать один год всего —  
 Единственный сын —  
 На рассвете —

И точно — меня ждали, как обещали еще утром, посреди мощеной площади, среди гор; военный раввин, грузный, с рыжей растрепанной бородой, этакий пророк в защитном, торчит на солнцепеке и ждет. И как только такси подъезжает ближе, он меня сразу узнает, словно у меня на лбу написано, торопливо хватается, словно боится, что я возьму и шмыгну в один из стеклянных подъездов, зияющих вокруг.

— Вы отец?  
 — Я отец.  
 — Один?  
 — Один.

Он поражен. Его глаза горят. Как можно? Как это меня пустили одного? Ведь тут не только опознание, но и последнее прощание.

Я знаю, а вот что сказать в ответ, того не знаю. Я только кидаюсь к нему, наконец-то передо мной настоящий раввин, духовное лицо, что ни говори. И я молча прижимаюсь к его потной одежде, слегка трогаю его погоны, а он, пораженный этим неожиданным моим порывом, но и беспомощностью, сквозящей из темной моей одежды, обнимает меня тоже, низко опускает плечи, в глазах у него слезы и мало-помалу, все так же в обнимку, проводит меня навстречу солнцу, нещадно заливающему нас с запада, бережно затаскивает меня внутрь.

В огромный пустой лифт, и мы сразу начинаем спускаться в бездну, медленно, уже не в обнимку. Я снова говорю, но механически, не слыша уже собственных слов, я все боль ищу, а слова звучат где-то в отдалении, на каком-то затаянтом туманом горизонте: я их произнес сегодня уже столько раз — тридцать один год, без пяти минут профессор, единственный сын. Всего лишь несколько месяцев назад вернулся из Штатов, бородатый, я его почти не узнал. Любимый. Оставил жену, молодую американку, непонятную. Оставил мальчика, рукописи, незаконченный какой-то труд, коробки, разбросанные по квартире, провода и трансформаторы. Можно сойти с ума. Наши дети гибнут, а мы остаемся с вещами...

Я все еще говорю о нем, словно он далеко, лежит где-то там в пустыне, а не в нескольких шагах от меня, словно я не добираюсь к нему вот этим медленным, но уверенным падением, прекращающимся наконец неслышным сотрясением, от которого глаза раввина вновь загораются. Дверь автоматически разъезжается перед нами.

Он хватается меня за руку, потому что я обнаруживаю первые симптомы склонности к побегу. Ведет меня освещенными коридорами подземелья, насыщенного дыханием моторов. Из проходов между коридорами на нас вдруг веют сквозняки. В небольшой конторке нас встречают. Врачи, просто граждане опускают головы при моем появлении. Закрывают на мгновение глаза. Некоторые тут же отступают, начинают сматываться, но есть и такие, которые прямо тянутся ко мне, хотят дотронуться до меня. Раввин шепчет:

— Это его отец, один.

И я из страха опять начинаю бормотать известные уже фразы.

Кто-то подходит ближе, чтобы лучше слышать, все безмолвствуют.

Есть какая-то необыкновенная нежность в том, как эти люди ко мне относятся, как усаживают меня на стул, набрасывают мне на голову кипу, ловко достают из моего кармана удостоверение личности, что-то записывают, открывают какую-то боковую дверь; когда же они мне помогают потом встать, я в состоянии невесомости — меня как бы выносит не то на крыльях, не то на руках в зал с цементным полом и множеством перегородок, шелестят белые крылья.

В помещении слышно журчанье воды, словно где-то бьют родники.

Пролитая кровь —

Мое дитя. Проклятье, обрушившееся на меня —

Кто-то уже стоит у одной из перегородок, откидывает в сторону занавесу, откидывает и простыню, а я, все еще издали, мучимый каким-то жутким любопытством, едва дышу, сердце почти не бьется, вырываюсь из их рук и подплываю неудержимо туда, посмотреть на бледное лицо убитого молодого человека, лежащего под простыней, голого, с тоненькими ниточками крови вокруг омертвевших глаз, чуть-чуть приоткрытых. И вдруг мне становится страшно, ермолка сползает с головы.

Гробовое молчание. Люди не спускают с меня глаз. Раввин стоит недвижно, его рука на груди, вот-вот вытащит шофар и закатит нам, гляди, трубный стон.

— Это не он... — шепчу я наконец в страшной растерянности, в нарастающем отчаянии, под шум воды, журчащей в этом распроклятом помещении.

Кто-то включает еще свет, как будто дело в свете. Безмолвствуют по-прежнему. Я вижу — никто не хочет понять.

— Это не он, — снова говорю я, беззвучно, бездыханно, хватая воздух. — Вы, видно, ошиблись.

Наконец-то они тоже выказывают признаки растерянности. Раввин кидается к клочку бумаги, прикрепленному к носилкам, и громко читает фамилию и имя.

— Только фамилия и имя соответствуют... — говорю я все еще шепотом и отступаю назад. И в гробовой тишине я возвращаюсь в конторку, которая вдруг стала для меня оазисом в пустыне.

Сзади раввин принимается ругать кого-то, и изумленная кучка людей разваливается на глазах.

Канун субботы, уже поздно. Хоть отсюда и не видно ни солнца, ни гор, но я знаю — мы на окраине города, в подземелье больницы, громоздящейся над диким ущельем и все глубже и глубже вгрызающейся в него. Людям хочется домой; чем ближе подходит суббота, тем дальше отходит от них город. Они терпеливо ждали, потому что знали — это недолго, несколько минут всего: вошел, посмотрел, поплакал, сказал последнее прости; может, еще бумагу какую подписал, ведь должен же остаться какой-то документ. В конце концов, не я первый, не я конечно же и последний.

И вот я их задерживаю. Мне от души жаль этих людей, входящих в контору с опущенной головой, словно они в чем-то провинились. Они что-то хотят сказать, но видят, как я сижу в углу, и у них слова как-то ломаются. Такое жуткое недоразумение. А за стенами я слышу звонки, лихорадочные разговоры по телефону. Они пытаются распутать все это еще до того, как я предамся ложным надеждам.

Но я не предаюсь решительно ничему. Только выпрямляюсь, встаю на ноги и молча смотрю на людей. Это всего лишь перемена, говорю я самому себе, небольшое прекращение огня. Но людей это мое вставание пугает, они думают, что я начну сейчас скандалить, они даже готовы к этому, но я и не думаю скандалить, а только принимаюсь ходить по комнате туда-сюда, от одной стены к другой, точно лунатик, и вдруг я, как собака, нахожу на столе тарелку, а в ней засохшее печенье, достаю одно, кладу в рот и начинаю

жевать, С самого утра маковой росинки во рту не было.

Но пища застревает у меня в горле, точно я положил в рот вонючую какую-то гадость, как ползучего какого-то гада.

Меня рвет —

Наконец-то —

Они этого ждали, были к этому готовы. Привыкли, видно. Сразу же усаживают меня, обтирают, подносят какую-то остро пахнущую жидкость.

— Это был не мой сын... — бормочу я им, а в лице у меня, чувствую, ни кровинки.

Снова входит военный раввин, вид у него страшный, глаза горят, он в отчаянии, борода растрепана, фуражка сбита в сторону, только звездочки по-прежнему блестят на погонах, он молча приглашает меня войти еще раз в помещение, где журчит вода.

Теперь передо мной уже не одна, а три перегородки. Сильный свет, все лампы включены, опять они думают, что дело в свете, что при сильном свете им легче будет убедить меня. С ними никогда еще ничего подобного не случилось, и эта путаница их прямо пугает. И опять я не выдерживаю. Пролитая кровь... Господня кара... Опять нечем дышать, и сердце безмолвствует. Плыву молча от носилок к носилкам, потерянные лица, молодые парни, что твои школьники, только глаза зажмурены, чуть-чуть закатанные.

Не он.

Подводят меня еще раз к первым носилкам, они, видно, решили свести-таки меня с ума.

— Мне очень жаль... — речь у меня обрывается, и я падаю на военного раввина, на канавки, высеченные вдоль стен, которые наконец-то открываются моему взору.

Кажется, мне все-таки придется разобрать снова тот миг, когда я узнал о его смерти.

Летнее утро, небо разодрано от края и до края, июнь, последние дни учебного года, я встаю поздно, в теле какая-то

слабость, с трудом прихожу в себя, плохо ощущаю время, и фазу на меня наваливается пылающее солнце.

Поднимаюсь по ступенькам школы, звонок уже был. Его отголоски дребезжат в листьях деревьев, где-то там в зеленоватом воздухе. Шагаю по пустующим коридорам, вместе с последними школьниками, спешащими в классы, не спеша пробираюсь в свой выпускной-А, который — я еще издали чувствую — нервничает и сердито гудит.

Сбившиеся кучей у двери замечают меня издали, черты хаотичны и спешат на свои места: класс предупрежден. Последний визг девушек. Я уже на пороге, они напряженно стоят у своих табуреток, на столах разложены чистые листы, точно белые флаги в знак капитуляции. Библии спрятаны глубоко в столах.

Вот он террор, который я на них нагоняю преподаванием Библии.

Каждая контрольная приобретает какое-то жуткое значение.

Я здороваюсь с ними, они садятся. Вызываю одну из учениц, она выходит к доске, изящная, длинные волосы, берет у меня, не говоря ни слова, бланки контрольной, обходит молча ряды столов и раздает их. Глубокая тишина, поникшие головы. Напряженный столбняк первого, лихорадочного ознакомления.

Я знаю: очень трудная контрольная. Никогда я еще не составлял такого беспощадного текста. Мало-помалу они поднимают головы, лица начинают гореть, вспыхивает немая растерянность. Они бросают друг на друга взгляды, полные отчаяния. Некоторые поднимают руку, но я стою высоко над ними и жестом заставляю их опустить руки. Они ошарашены, так и не поняли моей цели. Сказать они ничего не могут, потому что я не даю. Сидят одиноко, каждый на своем месте. Вдруг, словно им света мало, кто-то встает и раздвигает шторы. Но от этого толку мало. Сильный свет, который заливают их сейчас, их только еще больше раздражает. Они пытаются написать что-нибудь, кусают ручки, но ничего у них не получается, некоторые уже комкают бумагу. Один, с пылающим лицом, встает и демонстративно

покидает класс. За ним второй, третий, вроде взбунтовались. Наконец-то!

В эту самую минуту раздаются торопливые шаги директора. Может, до него уже дошел слух. Он открывает дверь, входит бледный весь, запыхавшись, даже не смотрит в сторону ребят, а направляется сразу ко мне, поднимается, хватается за рукав — мы с ним уже три года не разговариваем — и вдруг, на виду у ребят, обнимает меня за плечи и шепчет: одну минуточку... оставьте их... не важно... пойдете со мной...

Первый вариант — не упираться. Отпустить людей. Не отнимать у них время. Не бороться против солнца, неумолимо слабеющего. Дать им спокойно вернуться в Иерусалим, отпустить домой и раввина. А тем временем выйти и самому из игры, ненадолго, распрощаться со всеми, спуститься с гор, вернуться домой пусть и не засветло, пробраться украдкой по темной нашей улице, войти через заднюю дверь, первым делом закрыть ставни, раздеться, ни о чем не думать, никому ничего не говорить, а отключить телефон, запереть двери и ждать. Постелить кровать и попытаться заснуть. Ждать нового извещения, более авторитетного.

Второй вариант — заупрямиться, бузить, рвать на себе одежду. Наброситься на военного раввина, на всех. Потребовать от них доказательств. Поднять еще людей для новых поисков. Колонна машин на улицах Иерусалима в самый канун субботы, разъезжать от одной больницы к другой, копаться в подвалах, спуститься в самую преисподнюю, но найти его.

Еще один вариант — не шевелиться. Ничего не делать. Лежать вот так на этих носилках под этим одеялом, прямо в этой больнице, тут же в этой конторке. Вот кто-то уже подносит к моим губам стакан воды.

Открываю глаза. Это военный раввин, этот дикого вида пророк, впавший в отчаяние; кругом стоят врачи, а он собственноручно и очень бережно поит меня водой.

Он чувствует, что я жду от него объяснения —

Но у него нет объяснения —

Непонятно это все.

У него даже слов никаких нет.

За всю службу с ним ничего подобного не случилось.

Не только он — никто тут ничего не понимает.

Произошла какая-то роковая ошибка —

Телефонными разговорами тут ничего не сделаешь, он это прекрасно знает. Надо начать с первоисточников: с дивизии, полка, может, даже батальона.

Трудно мне, что и говорить, но кто знает — может, именно потому, что трудно, выйдет еще воскресенье.

Ему не хочется произнести это слово, уж больно оно непомерное. Он очень боится ложных надежд.

В Мидраше есть одно чудное место, очень умное, ну да теперь не время.

Страшное время, совсем безумное —

Бегают с одних похорон на другие.

По вечерам сидит дома и обновляет надгробные речи —

И нагнувшись ко мне: оставаться здесь, на этих носилках, под этим одеялом — толку никакого.

Надо подняться в Иерусалим —

Если можно, еще до наступления субботы —

Предлагает поэтому крепиться, то есть если, конечно, у меня осталось хоть немного сил. Сбросить с себя одеяло, слезть с носилок. Теперь меня уже никуда не отпустят одного.

Кстати, и с точки зрения Галахи мое положение не совсем ясно — обязан ли я надрезать лацкан пиджака в знак траура или не обязан. Однако на всякий случай, да чтобы я не строил себе иллюзий, да и суббота на носу, он достает из кармана маленький ножик, сбрасывает с меня одеяло и, хоть я и не встал еще, делает на моем пиджаке длинный надрез, поближе к сердцу.

И вот мы поднимаемся из недр вверх, все в тихом том лифте и в том же темпе, выходим, пошатываясь, все на ту же площадь, но застаем там уже другой свет, иной воздух, признаки нового безмолвия. Затем мы начинаем выбираться из вади, из внутренностей гор, а вместе с нами выбирается

и солнце, застрявшее сверху на лакированном кузове небольшой военной машины раввина, самоотверженно правящего ею, сигналившего во все стороны.

Есть какая-то особая отрешенность в летних улицах Иерусалима, на которые победно наваливается мощь субботы. Я думаю о своем доме, о нашей улице, утопающей в зелени в этот час, густо пахнущей цветением, полной гомона обывателей, моющих машины, и звуком воды, булькающей вдоль тротуаров.

И вдруг — осень, над соснами и кипарисами плывут облака, а мы въезжаем "на всем скаку" в огромный и пустынный военный лагерь, расположившийся в перелеске на одном из холмов, и в эту самую минуту из города поднимается зов сирены, извещающей о наступлении субботы, — эдакий пронзительный вой, отбрасывающий длинные тени на земле. Раввин мгновенно тормозит, выключает мотор, выпускает из рук баранку, прислушивается к звукам, словно ловит какое-то новое откровение, затем отправляется искать кого-нибудь из штаба дивизии.

Но никого нет. Только бараки, окна которых заколочены досками, сиротливые бетонные площадки, успевшие потрескаться, маленькие желтые дощечки на столбиках с выписанными на них номерами полевой почты. Сама часть ушла на передовую, оставив за собой только побеленные известкой строения и размашистые надписи на стенах: батальон первый, интендантство, столовая, молельня.

Колючая проволока прорвана, попадала и скрежещет под ногами, а я все иду и иду за раввином, он обходит барак за барак, стучится в безмолвствующие двери, куда-то исчезает и снова появляется — на этот раз его борода маячит между деревьями.

А я, никогда в армии не служивший — в Войну за независимость я только и делал, что дежурил у шлагбаумов, — ваюсь на какой-то камень, торчащий посреди учебного плаца, над сердцем у меня зияет траурный надрез, а в нос бьют запахи древних каких-то войск.

Такой ужас —

С самого утра я все глубже и глубже погружаюсь в бездну. Это жуткое безмолвие кругом.

И, словно из-под земли, вокруг меня начинает собираться народ; полуголые волосатые бойцы в незашнурованных ботинках, с полотенцами в руках и маленькими транзисторами, в которых гудят субботние песнопения, усталые шоферы, вывалившиеся из какого-то барака, — видно, мыться шли под душ. Они окружают меня со всех сторон тут же на учебном плацу и молчат. И снова я, серый и усталый, все с той же сказкой: тридцать один год. Утром сообщили по телефону. Преподает в университете. Оставил жену и малыша. Они еще ничего не знают. Я поднялся вот в Иерусалим, чтобы опознать, а это не он...

Их ошеломление —

Комкают полотенца —

— То есть как это не он?

— А вот так. Не он. Не его труп. Кто-то другой...

— А кто?

— Как я могу знать?

— А сам-то он как?

— Вот это-то я и спрашиваю. Может, вы знаете кого-нибудь, кто мог бы помочь.

Их лихорадит. Что-то в моем рассказе ввергает их в дрожь. Волосатые, с полотенцами и мыльницами в руках, они первым делом глушат транзисторы, забывают про душ, бережно поднимают меня поддерживая под руки, всю поносят армию. За всю жизнь они ничего подобного не слышали. Так и видно, что им ужасно хочется сорвать злость на ком-нибудь, ну хотя бы избить офицера, что ли. И тут кто-то говорит, что видел джип дивизионной разведки где-то тут под деревом, и меня сразу же ведут туда. И действительно, в одной из рощиц, под низко нависшими ветвями, у заколоченного одинокого барака, превращенного в склад оружия, касаясь передними колесами одной из дверей, стоит джип, набитый боеприпасами и пулеметами. Пытаются эту дверь открыть, но ничего не получается. Тогда взламывают окно и заглядывают в полутемное помещение, набитое ящиками с боеприпасами. В углу полевая койка. Кто-то прыгает через

окно в помещение и будит какого-то парнишку в хаки, худенького офицера, скорчившегося, точно младенец в чреве матери, на койке, как был одетый, обутый и с пистолетом на боку, спит среди снарядов.

Он просыпается сразу, продирает глаза и молчит. Ему рассказывают обо всем жарко, с криком, показывают пальцем на меня, торчащего у окна, словно застывший идол. Но он на меня не смотрит. Сидит, сгорбившись, на койке в измятой своей одежде, равнодушный ко всеобщему возбуждению. Лишь когда галдеж утихает и до нас вдруг доносятся порыв ветра в соснах, он обращается ко мне ровным, тихим голосом, хоть я и стою от него неблизко.

— Как вас зовут?

Я отвечаю.

— Как зовут его?

Я отвечаю.

— И это не он?

— Не он.

— Кто привез вас сюда?

— Военный раввин.

Его глаза холодеют, продолжительное молчание, наконец очень тихо:

— И чего же вы хотите?

— Найти его...

Он не реагирует, точно снова заснул. Затем встает, усталый, оплетенный тенями, но вместе с тем и с повадками генерала вдруг, складывает одеяло, отпирает дверь, выходит вон и исчезает между соснами, в которых тихо шелестит ветер. Шоферы за ним, застают его у заржавевшего крана, схороненного под опавшей хвоей, он подставляет голову под кран, и прохладная водичка заливает ее всю. Затем отходит в сторону, ни на кого не смотрит, а вода так и капает с него. Шоферня уже готова наброситься на него. Но по мере того как капли высыхают на его опущенной голове, у него в глазах появляется огонек: он уже принял решение. Ровным голосом он отдает команды пораженным шоферам: одному велит найти пропавшего куда-то раввина, другому приказывает заправить джип, а остальные уже хватают меня, поднимают,

словно я калека, освобождают для меня место и сажают в джип между смазанным пулеметом, кучей лент и дымовыми шашками. Надевают на мою седину шлем и тщательно завязывают мне ремешок на шее.

Кто-то включает рядом рацию, она начинает посвистывать, а джип, сначала совсем незаметно, точно сам покатился, приходит в движение, обвешанный шоферами, и я так и не возьму в толк: то ли они его толкают, то ли он их волокет. И откуда-то прямо в последнюю минуту приволакивают и раввина, он весь в поту, сбит с толку, потух весь, мечтает о своей субботе и тоже присоединяется к нашей процессии, медленно тащится за джипом. Смотрит, как я сижу среди пулеметных лент, но это его нисколько не пугает. Меня забирают от него, что ж, пусть забирают, он даже готов благословить меня в дорогу. Что делать? Он никого не нашел в штабе. Пытался связаться с передовой, но ничего у него не вышло. Зато оставил рапорт, подробно описал все на случай, если кто-нибудь все-таки придет.

Он все еще тащится за джипом, медленно продвигающимся между деревьями и посвистывающим рацией. И еще что? Еще что ему досаждают? Оказывается, что-то он все-таки нашел. Личное дело убитого, оно лежало на столе. Может быть, и впрямь произошла ошибка, — размышляет он вслух. Фамилия, правда, сходится, но это не мой сын. Может быть, я все-таки взгляну на фотокарточку перед тем, как спуститься в пустыню? И он сует мне куцую какую-то папку, опять же защитного цвета, и ребята вновь окружают меня, чтобы посмотреть тоже. Я открываю папку, и с первой же страницы на меня смотрит худой юноша, окончивший среднюю школу пятнадцать лет назад, мой сын, в защитного цвета рубашке, подстриженный коротко, устремляет на меня упрямый взгляд.

Уже половина шестого. Длинная антенна царапает солнце, мелькающее где-то в верхушках деревьев. Джип нерешительно пересекает Иерусалим, точно ищет кого-то, кто отстал, кто

отменил бы эту поездку, а тем временем запыленные колеса давят красноватую иерусалимскую субботу.

Прохожие останавливаются и посматривают на пожилого гражданина, одетого в черное, с шлемом на голове и с покрасневшими, заплаканными глазами. В том, как я держусь за пулемет, есть, по-видимому, что-то угрожающее для иерусалимцев — сначала евреев, затем и арабов — точно я вот-вот начну косить их, а я даже не знаю, где курок.

Спрашиваю у офицера.

Он мне показывает —

Я ощупываю его —

(Такой маленький.)

И вот, когда мы оставляем позади себя и восточную часть Иерусалима, суббота рушится окончательно. Зелень исчезает, уступая место нагой белизне каменных домов, серой пыли, сбившейся на обочине, голубому дымку, вьющемуся от неведомых костров во дворах, а у костров арабы, которые на нас не то смотрят, не то не смотрят — не разберешь.

И вдруг рушится сама дорога. Поворот — и перед нами серая пустыня, без солнца, в обрамлении дымных облаков.

Наконец-то я въезжаю торжественно и во всеоружии в Иорданскую долину, по которой еще ни разу не ступала моя нога.

И сразу — искать следы мертвой, далекой, библейской божественности в иссохших холмах, тянущихся вдоль шоссе, в изрытых солнцем морщинах на лице пожилого бойца, поднимающего шлагбаум.

А отсюда — я этого ждал, я знал, знал, — все ускоряется, наступает новое какое-то возбуждение; командир, поджав губы, словно борется с чем-то, суживает глаза и жмет на газ жадно, бешено.

А я прижимаюсь к пулемету, меня обдувает ветром, я засовываю руку в карман и начинаю вынимать оттуда всякую всячину: автобусные билеты, старые квитанции, ученические списки, клочки бумаги со стола сына, набросок речи, бланк утренней контрольной.

А вот наконец в сумерках и всамделишное войско. Тусклый свет пустыни тоскливо угасает над палатками, барака-

ми, танками, бронетранспортерами и гигантскими торчащими в небо антеннами, а из какой-то трубы валит дым, точно здесь иная правит суббота. Пожилые загорелые бойцы, в широких защитных комбинезонах, поднимают перед нами шлагбаумы, кажется, вся пустыня перегорожена этими шлагбаумами.

Нас окружают —

Нас ждали —

Некоторые даже пустились бежать за джипом.

— Прибыл старик отец, — орет кто-то, не жалея легких, точно я какой-то святой.

И вот меня уже выгружают, осторожно отодвигают от пулемета, освобождают из-под ленты, в которой я запутался, вынимают патрон, который я по рассеянности засунул в дуло, снимают меня с машины, дряхлого и грязного, с шлемом на голове, и ведут в наступающей темноте к командиру.

И вдруг где-то далеко, в самой, верно, долине, за холмами — стрельба.

Сердце стынет —

Какая теплота идет от этих людей, когда они дотрагиваются до моего тела; как они рады, что к ним прибыл настоящий старик, хоть и в шлеме, а все-таки с гражданки, ночью в пустыне; так рады, что уже успели шепнуть мне потихоньку, словно нарушая что-то:

— Он жив, это не он, они ошиблись...

Но тут раздается властный голос командира в новой этой темноте, и хотя я не вижу его лица, однако прислушиваюсь к голосу, который я уже когда-то слышал — наверно, старый мой ученик, я узнаю этот голос, не могу не узнать.

...Стычка произошла ночью, и убитого доставили в больницу еще до рассвета. Люди тут почти не знают друг друга. Некоторые не были в части уже несколько лет. Писарю передали только личный номерок, а по нему он и достал личное дело. Он даже не видел убитого. Думали, что все в порядке, но вот, с час тому назад, позвонили из штаба, передали всю историю и сказали, что мы вот-вот нагрянем. Бросились к рации, подняли на ноги всех, люди тут, знаете ли, разбросаны на огромном пространстве. Первым делом спро-

сили — есть ли кто-нибудь с такой фамилией. И представьте, несколько минут тому назад кто-то нашелся. Тридцать один год. Из Иерусалима. Личный номер точно совпадает с номерком убитого. Ну, это еще нужно выяснять. Больше ни о чем не спросили, чтобы не напугать, не хотели сказать ему, что уже сообщили родным. Но это мой сын, он в этом больше чем уверен. Другой возможности нет. И раз я уже здесь, то, может, все-таки взгляну на него, а? Так сказать, для полного спокойствия. И лучше сразу, этой же ночью. Вот, скоро он проедет мимо с патрулем, уже договорились, что они подождут тут неподалеку. И раз уж я добрался до... передовой... то, может быть, я подъеду... то есть если я, конечно, могу... Вот, можно сесть на этот бронетранспортер... из дивизии, кстати, сообщили, что ведете вы себя молодцом...

И тут меня осенило: ведь он меня боится. Это мое молчание, эта бесконечная терпеливость, то, как я стою перед ним, едва держась на ногах, и ничего от него не требую; покорность, с какой я ношу на голове этот тяжелый шлем. Во вверенной ему части была допущена ошибка, он отвечает за нее лично и, верно, испугался этого беспощадного моего молчания. И опять — где-то далеко длинные очереди, еще и еще, отзвуки отголосков. На этот раз меня ведут к тяжелому бронетранспортеру, открывают стальную дверцу, сажают, опускают бронированные окна, два-три бойца поднимаются вверх к пулеметам, кто-то нагибается к рации и начинает что-то бормотать.

Ужасно медленно, без фонарей, под лязг мелющих гусениц, в стальной коробке, где тускло мерцает красная лампочка, я все понимаю. Они возвращаются к Иордану, хотят переправить меня на ту сторону, к самому что ни на есть источнику. Все, что было до сих пор, — это только присказка.

Вдруг мы останавливаемся. Кто-то там копается, открывает стальную дверь и выводит меня наружу. Перекресток среди бездорожья. Пустыня и в то же время не пустыня. Тростник и какие-то кусты в овражке неподалеку. И тишина.

Стрельбы не слышно. Легкий ветерок. Небо, усеянное звездами. Мы ждем. Присев на камни, валяющиеся сбоку у кустов. И снова я обнаруживаю, что попал в чьи-то руки. Он не молод и не стар. Умное лицо, благожелательное, поглядывает на меня с любопытством, улыбается. Что-то во мне смешит его; может, шлем? Я пытаюсь снять его, но он по-прежнему улыбается. Оказывается, это мои годы не дают ему покоя.

— Семьдесят мне.

Субботний вечер. На бронетранспортере вспыхивают спички, светятся кончики сигарет. Бойцы разговаривают тихо, добродушно ругаются, подсчитывают, сколько еще суббот им осталось быть здесь. Рация слабо посвистывает, кто-то откуда-то спрашивает:

— Вы меня слышите?

Но никто и не думает отвечать.

Чем я занимаюсь?

Я говорю ему.

Улыбается. Он так и думал.

— Из-за моего иврита? — тихо спрашиваю я.

— Как, то есть, из-за иврита?

— Ну, может, язык у меня книжный.

Он улыбается. Ничего не книжный. Но вот глаза, по глазам он и догадался. Был у него когда-то учитель истории, так у него такие же были глаза.

— Какой истории?

— Еврейской.

— И он был похож на меня?

— Да.

— Несмотря на разницу?

— На какую разницу?

— Между Библией и историей.

— Разве существует разница?

Я встаю, надрез отодвигается от моего сердца, я начинаю объяснять ему, негромко, воодушевляясь.

...Я подхожу к главному. Все это было только введение. Господин директор, коллеги учителя, уважаемые родители, дорогие ребята. Я чувствую потребность, вы уж меня прос-

тите, сказать пару слов тем из нас, которым суждено, может быть, исчезнуть.

На первый взгляд ваше исчезновение — тривиально, лишено значения, излишне. Ибо с точки зрения исторической как бы вы ни тщились, ваша смерть будет всего лишь надоевшей уже репетицией, хотя и при несколько изменившейся декорации. Другой абрис холмов, иные очертания пустыни, новая разновидность кустов, поразительные виды оружия. Но кровь — все та же, а боль — она ведь так нам знакома.

Однако если смотреть глубже, все меняется, точно становится на голову. Ваше исчезновение приобретает огромный смысл, ослепительно сияющий. Оно превращается для нас в пламенный источник чудесного, продолжительного вдохновения.

Ибо, если сказать просто и ясно — никакой истории нет. Сохранилось лишь немного текстов и черепков. Все остальные ученые исследования излишни. Припадать снова и снова к радиоприемнику, искать спасения в газетах — чистейшее безумие.

Все повторяется и преисполняется таинственности. Ваши тетради, изгрызанные карандаши, каждый предмет, вами оставленный, источают тоску. А мы, идущие за вами по кругу, растаптывающие нечаянно едва заметные ваши следы, обязаны быть чуткими, как во время короткой, скажем, стоянки в пустыне, среди нагих холмов, на выгоревшей земле, где порой не слышно ни малейшего шума...

И тогда откуда-то вдруг послышался шум, и с востока, или с запада, или с севера — ориентацию я уже успел потерять — подъезжает патруль, сияя в облаке пыли, две-три машины, под все усиливающийся гул, в темноте, кидает время от времени снопы света на дорогу, перебрасывает их затем на обнаженные холмы и вверх — на небо.

А там, в этом катящемся гуле, должен ведь быть и мой сын, рядовой тридцати одного года, на столе которого валяются наброски каких-то научных трудов, теперь он торчит в чреве бронетранспортера, а то у пулемета или миномета, целясь в меня прожектором, а то, чего доброго, и дулом.

Сноп света упал на нас —  
Кто-то дал по нас выстрел —  
Оии забыли про нас. Думают, что мы диверсанты —  
Ребята орут что есть силы —  
Могли убить —

Наконец подъехали. Остановились чуть поодаль, два бронетранспортера и один танк. Двигатели рычат, вся долина вдруг оживает. Смутные силуэты, ночные, лиц не видно. Офицер, который не отходил от меня ни на шаг, пошел искать командира. А я торчу в темноте на своем месте, вглядываюсь в тени, и вдруг на меня наваливается отчаяние: готов поклясться, что все это бесполезно, дрожу всем телом, готов опознать кого угодно по первому требованию.

Несколько бойцов прыгивают с машин и мочатся на гусеницы. И вдруг я опознаю и его, грузный такой, лохматый, погруженный в мысли и одинокий. Он тоже оправляется.

Я-то его вижу, а он меня нет. Я стою недвижно и смотрю на него издали. Я знаю, белье на нем, конечно, грязное. Еще когда в школу ходил, он возвращался из небольшой какой-нибудь экскурсии такой грязный, точно он всю пустыню пересек.

Тем временем его уже ищут. Командир выкрикивает его имя. Он оборачивается, застегивает пуговицы, подходит ближе неясной тенью. Страннее всего то, что он ничуть не удивился, заметив у кустов, среди ночи, в двух шагах от Иордана, меня, старика отца, в стальном шлеме.

Два офицера подхватывают его. Двигатели транспортеров глохнут.

Вдруг мертвая тишина.

— Он?

— Он, — я легонько дотрагиваюсь до него.

Он улыбается нам всем, бороду ему немножко подстригли, ничего не понимает, стоит передо мной усталый, обвешанный гранатами, автомат болтается на нем, точно метла.

— Что случилось?

— Как ему объяснишь.

— Что-нибудь дома?

Как втолковать ему, что я его уже похоронил, проник

в его комнату, копался в его бумагах, собирался даже собрать их все и издать книгой.

— Сообщили, будто тебя убило...

Это сказал не я, а кто-то другой.

Он не понимает, не может понять, сутулится под своим снаряжением, шлем сдвинулся ему на лоб, лицо тупое, палит на меня глаза, в точности как его сынишка, в точности так, как смотрю и я на него. Так он смотрел на меня, когда был еще маленьким, когда я ему отпускал подзатыльники.

Его просят показать номерки —

Мало-помалу вокруг нас собирается целый митинг.

Он роется в карманах с какой-то удивительной покорностью, достает клочки бумаги, шнурки, патроны, бумажные носовые платки, еще платки, машет этими салфетками, как будто это исписанные листы бумаги, но номерков он так и не может найти. Видно, потерял. Хотя они ведь были прикреплены к его индивидуальному пакету.

— А где бинт?

Бинт он отдал после боя санитару. Выходит, отдал и номерки. Я начинаю подозревать, что он тоже философствовал об исчезновении, вот здесь на берегу Иордана, или же он просто хотел посигналить мне издалека.

Зовут санитаря —

Из темноты вытаскивают маленького еврея, пожилого, ворчащего. Он с наслаждением затягивается сигаретой, но ничего не помнит. Правильно, он получил несколько бинтов, но про номерки ничего не помнит. На убитом он, правда, нашел номерки и повесил их ему на шею. А вообще его не стоило уже перевязывать, он уже тогда видел, что перевязывает труп. Все же перевязал. Нет, он даже не пытался опознать его. Понятия не имеет, кто это мог быть. Он ведь почти никого здесь не знает. Он вообще из другой дивизии, попал сюда по ошибке. Хочет вернуться в свою часть. Чего это вдруг он должен пропадать не в своей части? Ему хочется к товарищам, к тому же их вот-вот отпустят, а что тогда будет с ним?..

Его отодвигают в сторону —

Мало-помалу, в густеющей тьме, сын начинает понимать.

Оживает лицо, проясняется взгляд, выпрямляется спина. Он вскидывает автомат, к нему возвращается жизнь, но я, чувствуя, что вот-вот свалюсь, наседаю на него.

— Утром, в школе, директор вдруг приходит в класс, — наконец-то я с ним разговариваю. — Сумасшедший выдался день...

Круг все более и более суживается, народ подходит все ближе и ближе. Рассказ о его гибели и воскресении вызывает у них жгучий интерес. Они закидывают нас грубыми шутками, хотя знают подробности. Мы стоим вдвоем, растеранные, и слабо улыбаемся.

Командиры принимаются разгонять народ, загонять солдат в бронетранспортеры. Ночь только начинается, объезд тоже, война еще не кончилась.

И вот мы остаемся одни, оба в шлемах, только я без автомата, лишь с надрезом в области сердца.

— Ну, как ты? — шепчу я торопливо, из последних сил.

Он смотрит на меня, будто впервые, изумленный тем, что я все-таки добрался до него и наседаю на него на самой передовой.

— Ты же видишь... — шепчет он ответ с каким-то горестным отчаянием в голосе, точно это я выписываю повестки. — Напрасная потеря времени... бессмысленная...

И как же растолковать ему, сделать так, чтобы он понял смысл, но быстро, на одной ноге, вот тут в тени машин, возобновляющих свой рев, до того как он опять скроется на своих ночных передовых позициях где-то там в пустыне и до того как, стоя вот так перед ним, я сам погружусь в глубокий сон.

Снов еще нет, но все-таки сплю. Я имею в виду — сердце у меня спит. Так и заснул стоя — от слабости, от голода, становлюсь все меньше и ничтожнее под этим до безумия звездным небом и восходящей на востоке луной. Вдруг, откуда ни возьмись, тучи, декорация меняется, сознание угасает. Мало-помалу гаснут и ощущения. Я уже не слышу

перестрелки где-то там вдали, не чувствую и соленого, пустынного запаха тростника, а то, что у меня в руке (камень или ветка) беззвучно выпадает у меня из рук; кто-то удаляется, расплываясь, я с ним прощаюсь, машу рукой, точно артист, в которого угодил сноп света от бронетранспортера, и отдаю свои мощи тому, кто с готовностью принимает их (опять кто-то другой, очень молодой), сажает меня на какой-то танк, прячет меня за стальными плитами, и снова, без фонарей, при мерцании красной лампочки, я пускаюсь в обратный путь.

И тут я впервые хватился, что текст-то я забыл. Целые главы. Я бы не выдержал сейчас ни одного экзамена, даже самого пустынного. Последние из стихов рассыпались, и лязгающие гусеницы размолотили их вдребезги.

После того открыл Иов уста свои и проклял день свой —  
Молитва Хаваккука-пророка на безумства —

Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской —  
В год смерти царя Узиягу —

Начальнику хора. На лилиях.

Песнь песней —

Аллилуйя —

Смотреть сны мне все еще нельзя. При свете луны, выглядывающей из-за облаков, в лагере на передовой я обнаруживаю гражданскую легковушку с зажженными фонарями и тихо рокочущим мотором, пустую. Меня чуть ли не силой волокут в одну из гигантских палаток, а там, при свете бледной лампочки, среди приборов связи, барабанов телефонного кабеля и нагих женщин, вырезанных из журналов и шевелящихся на полотнищах, стоит моя невестка. Ее окружают в проходах между койками связисты, не сводящие восхищенных глаз с молодой женщины с длинными волосами, ворвавшейся с наступлением ночи в их палатку.

— He not killed, — говорю я сразу на своем ломаном английском, весь в пыли и на пороге сновидений.

Но она уже знает, и ей так и хочется, я вижу, накинуться

на меня, так как она уверена, что это все я, что все это мне только померещилось и именно я и поднял всех на ноги. Но я все-таки опередил ее и, ничего не чувствуя, во сне, из-за тысячи перегородок, делаю два шага, спотыкаясь о кабели и задевая плечом голых тех баб, кидаюсь к ней и целую в лоб, глазу по голове, и вот в первое мое сновидение проникает слабый запах духов, приятное ощущение ее прохладного тела.

Уж эта мне новая левая —

Надушены тайно —

Жажнут теплоты —

И тогда не выдержала и она. Растерялись и радисты. Прежде чем зарыдать, она еще только быстро-быстро говорит что-то по-английски, затем несколько медленнее, ищет, к моему удивлению, и еврейские выражения и наконец рыдает беззвучно.

И только теперь я замечаю в углу палатки пожилого связиста, который сидит, нагнувшись, над полевым телефоном, и тщетно пытается установить с кем-то очень далеким истинную личность убитого.

И снова кто-то является за мной, проводит нас с ней в другую палатку на краю лагеря, показывает на неубранные койки бойцов, отправившихся на задание, и предлагает поспать до утра. Затем приносят еду в мисках, бутылку с остатками вина в честь кануна субботы, зажигают свечу на полу и оставляют нас с невесткой одних при свече, мерцающей в полутьме, насыщенной спертым воздухом Иорданской долины.

А я, изнемогающий и безумный от голода, оживаю от запаха пищи. И, не вставая с койки, поставив тарелку у ног на полу, не глядя на невестку, не пытаюсь даже говорить по-английски, я нагибаюсь и набрасываюсь на еду, без ножа и с погнутой вилкой, жадно глотаю эту военную пищу, пахнущую порохом, серой, пылью пустыни и такую чудесную на вкус; припадаю к бутылке и пью прямо из горлышка дешевое вино, сладковатое и тоже отдающее ружейным маслом и орудийным горючим, быстро пьянею, точно кто-то

обрушивает на меня изнутри оглушительные, далекие удары, все более и более обостряющиеся.

Стрельба. Опять люди стреляют друг в друга. Я просыпаюсь, вижу — не то я сам растянулся, не то меня уложили, сняли с головы шлем, к которому я уже привык, как к кипе, разули. Луны не стало, свеча потухла, вокруг густая тьма. Полотнища палатки шевелятся на ветерке, обдувающим нас ночной прохладой пустыни. Не вставая, тело у меня по-прежнему словно налито свинцом, а на губах, как у ребенка, засохли остатки пищи. Я начинаю различать ее очертания. Она бодрствует, сидя на моей койке, с распущенными волосами, военная куртка наброшена на плечи, лицо открыто, босая. Сидит и курит сигарету. Наверно, уже полночь, а она все еще не спит. К еде не притронулась. Сидит, наклонив голову в мою сторону, смотрит изумленно, напряженно; беспокойство, благодаря которому она преодолела вечером шлагбаумы и всякие прочие препятствия, лишь бы добраться сюда, только еще больше усилилось, точно я собственноручно сначала убил, а затем воскресил его, чтобы проверить одну какую-то неясность...

Стрельба не унимается, но редееет, точно бьют каждый раз в новую какую-то цель, но у меня такое чувство, что чем дальше, тем больше я к ней привыкаю. Она тоже не боится, сидит неподвижно, хотя именно в эту минуту он может погибнуть взаправду где-то там, на своем бронетранспортере, медленно дробящем проселок какой-нибудь в пустыне.

Все-таки придется мне проверить снова тот миг, когда я узнал о его смерти.

Летнее утро, небо разодрано во всю глубину, июнь, последние дни, я встаю поздно, ошалело, как после болезни, и сразу на меня обрушивается солнце.

Дребезжит звонок, я медленно поднимаюсь по ступенькам, и меня словно насосом выносит вверх течением толпы ребят, устремившихся по лестницам и коридорам в клас-

сы. Прохожу мимо открытых дверей классов, мимо скучающих учителей, добираюсь до своего выпускного-А и застаю ребят, спокойных, отчужденных, патлатых. Библии падают на пол. Кто-то стоит у доски и рисует цветы, десятки белых цветов с опадающими лепестками.

Я поднимаюсь к столу, они поднимают головы. В классе темновато, шторы опущены, но я вижу, что они потеряли ко мне всякий интерес, что они со мной уже распрощались, я принадлежу уже к прошлому.

Этот взгляд мне очень хорошо знаком, но я никогда его не боялся, потому что знал: рано или поздно, а они все-таки вернуться. Пройдет несколько лет, и я их увижу вновь — с мужьями и женами, бегущими за детьми, несколько сутулых. Когда они мне попадались на улице с авоськами в руках, они терялись, а я немедленно завладевал ими снова, пусть лишь на мгновение, на маленькую частицу секунды.

Но в последние годы разлука становится тяжелой. Они уходят в какие-то пустыни, далеко, я хочу сказать — вот эти вот нежные тела, вот эти прямые головы, юные глаза. И бывает, что не возвращаются. Уже не один выпуск. Некоторые исчезают, и что-то во мне надламывается. Оно не проходит. Вот эта их боль, преимущество переживания, в котором нет моей доли. И даже те, что возвращаются, хоть и гуляют с детьми, с авоськами в руке, а все-таки что-то изменилось в их взгляде, они смотрят на меня отчужденно, словно я их в чем-то обманул, я хочу сказать — учил не тому. Слово то, чему я их учил — предписания, притчи, пророчества — все это рухнуло в пыли, в огне, в одиночестве ночей. Слово все это не выдержало испытания новой реальности. Но какой такой новой реальности? Господь Сил, Господи Боже мой, что это такое — новая реальность? Разве что-нибудь в самом деле меняется?

Меня одолевает тревога, я начинаю раздавать бланки контрольной, сам хожу по рядам и кладу бланки на столы. В классе глубокая тишина. Они читают, слабо вздыхают, достают белые листы бумаги и набрасывают свои прямые, дельные, лишённые воображения ответы, сухим, скучным слогом, который без всякой видимой причины становится

вдруг поэтичным, чтобы тут же снова погрязнуть в пустыне.

Вот сын вернулся из Соединенных Штатов, малахольный какой-то, лохматый, этакий мягкий профессор, не такой уж и молодой. Приволок из одного из своих университетов хрупкую студентку, закутанную в волосатую какую-то бахромчатую накидку, а на плечах у нее в рюкзаке ребенок, малюсенький, бледный, говорит только по-английски. Спускаются с самолета и смотрят на меня так, словно привезли с собой новое какое-то откровение, благую весть о революции, о новой реальности, никому не ведомой...

И вдруг я чувствую, что меня одолевают слезы. Я все еще хожу между столами, мимо Библий, валяющихся на полу, нагибаюсь то и дело и поднимаю какую-то книгу. Ребята следят за мной, им так хочется списывать друг у друга или хотя бы шепнуть друг другу что-нибудь нужное на их взгляд, что-нибудь такое, что повысит чуть-чуть оценку, хотя еще немножко — и они все это оставят, оставят пустые классы, горки табуреток по углам, чистую доску, остатки имен на столах, вырезанных словно на могильных памятниках.

И вдруг меня одолевает стремление к иной разлуке, которая врзалась бы в их сердца. Дрожа от волнения я подхожу к окнам и с силой откидываю шторы, кидаю на них тяжелые струи солнца, красного как кровь. Подхожу к двери и открываю ее во всю ширь, останавливаюсь на пороге — один глаз в коридоре, другой в классе. Я знаю, что в эту минуту они напряжены до предела. Никак это я им ловушку подставляю? В классе ли я или вышел?

И тут я вижу издали директора. Он шествует печально и задумчиво вдоль пустого коридора, продвигается медленно, с трудом, точно устаревший танк, снятый с вооружения. Он сильно постарел за последние годы. Еще год-два, и ему тоже надо будет уйти на пенсию. Он поднимает голову и, заметив меня на пороге класса, снова опускает ее, точно увидел перед собой призрак либо камень. Он все еще полагает, что я не хочу разговаривать с ним. Как будто трех лет недостаточно. А в классе тем временем усиливается шепот и шелест бумажек. Они уже передают друг другу ответы.

Но я не двигаюсь с места. Мое лицо обращено к окну коридора, через которое лето, полное и безоблачное, так и прет. Далеко на горизонте маячат горы Иудеи, Моава и еще, и еще. Стекла отражают также фигуры ребят позади, они сливаются с этим ландшафтом, с этим синим пятном, верхушками деревьев, далекими антеннами и гулом самолетов.

А рядом останавливается директор. Впервые за три года. Очень бледный. Надо немедленно нарушить молчание.

Пять-шесть часов тому назад —

В Иорданской долине —

Убит наповал —

*Борис ХАЗАНОВ*

"ЗАПАХ ЗВЕЗД"

Повести и рассказы ("Запах звезд", "Взгляни в глаза мои суровые", "Дорога на станцию", "Час короля" и другие),

256 стр. Цена в Израиле — 28 лир, за границей — 3 доллара. При заказе непосредственно в издательстве — 25 лир.

Выходит из печати в ноябре 1976 года.

Заказы принимаются по адресу: ул. Нахмани, 62 Тель-Авив. Издательство "Время и мы".

**(К заказу должен быть приложен чек, и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.)**

Соломон ШУЛЬМАН

## ВРУН

Памяти Яна Эбнера. \*

Мы договорились, что встретимся ровно в три. Я поставил на стол соленые огурцы, нарезал колбасу, а в холодильнике искрилась неоткупоренная бутылка водки. Но Ян не пришел. Он не пришел в четыре, не пришел в шесть. В семь позвонил Яков и сказал, что Ян умер.

— Ладно, — сказал я, — пусть приходит в восемь.

— Вряд ли, — помолчав, сказал Яков. — Умер натурально, без хохмы.

И я понял, что это правда.

Ян умер, как и жил, шумно, вернее, суетливо. Сидел с приятелями в театральном ресторане — обедал, потом поднялся, чтобы отправиться по делу, о котором у нас с ним было договорено, но вспомнил свежий анекдот. Присел

\* Примечание для знавших его: Ян Эбнер точным прототипом героя рассказа не является. — С. Ш.

обратно за стол, чтобы рассказать, и на самом смешном месте уронил голову в салат. Все смеялись, думая, что так надо, и толкали его в бок, а он был мертв. Тромб в сердце.

Было ему не то сорок, не то сорок шесть — он всегда врал, пугаясь возраста, хотя был не из пугливых. Да и вся его жизнь была какая-то пугливо-непугливая. Рассказать о ней почти невозможно. Она соткана из былей, небылиц, легенд и явного вранья. Родился он не то в Польше, не то в Париже, но и это не точно. Скорее всего, в Шепетовке или Одессе — не важно. В войну был еще мальчишкой, но изловчился пробраться воевать в десантно-истребительный батальон. На этом месте у слушателей всегда возникала усмешка, и Ян злился. Мы представляли Яна, бесшумно ползущего с финкой в зубах сквозь оцепление врага, а затем молнией бросающегося на огромного рыжего детину. И как было не усмехаться: ростом он был с героев Чарли Чаплина, фигура школьника, голова запрокинута далеко назад, чтобы казаться выше, и всегда нище-элегантный. Одним словом — петушок. Но вот биография, черт возьми... Шесть раз бежал из Дахау! Из Дахау!!! Шесть раз!!! Пять раз ловили, истязали, чуть ли не убивали, а на шестой сбежал. Врет или не врет?! Остаток войны провел в партизанах, а потом вернулся в Москву. Здесь его и забрали. Получил стандартную десятку за пребывание в плену и... опять бежал. Дважды. Из наших лагерей. И сбежал. Фантастика?! Но это уже правда, это я знаю точно.

В трубке молча дышал Яков. Я тоже молчал.

— Как это случилось? — спросил я, и Яков рассказал.

Помню, как-то летом, еще в начале нашего знакомства, мы встретились с Яном на улице. Нос у него дергался, а пальцы на руках нервно шевелились. Было похоже, что он только что подрался.

— Ты что, подрался? — спросил я.

— Подрался, — ответил Ян и дважды присел, выбросив руки далеко вперед, будто собираясь заняться утренней гимнастикой.

— С кем? — спросил я.

— Не важно, — сказал Ян, — но я их расшвырял.

Я не ответил, давая Яну возможность рассказать свою очередную фантастическую историю.. И он рассказал.

Был он тогда начинающим режиссером кино. Ну, конечно, работник идеологического фронта. Мы же любим эти слова — "фронт", "враг", "баррикады"... Без них у нас застой, как-то даже скучно, делать нечего. Вот и пристали к Яну с ножом к горлу — вступай в партию, а то... Что "а то" Ян знал, объяснить не приходится. Сначала отшучивался дежурными словами — "не созрел", "не дорос", "молод еще" или, наоборот, "стар уже". Но, сами понимаете, с ножом к горлу — это не с кулаком под нос. Махнул рукой и пошел вступать — надо так надо. На киностудии его быстренько проголосовали (тем более — реабилитированный, время тогда подходящее было), сунули в зубы нужные бумаги и отправили в райком. Вот он и маячил теперь по райкомовскому коридору взад-вперед, ожидая своей очереди в кабинет, где заседала приемная парткомиссия, и готовил речь. Язык у него был длиннее его самого.

"Почему решили вступать в партию?" — басисто спрашивал сам себя Ян и визгливым голосом сам же отвечал: "Ощущаю жизненную необходимость быть в передовых рядах!" Здесь, по мнению Яна, комиссия должна была грянуть аплодисментами.

Но она не грянула. И вообще все было по-яновски, ненормально. Вначале шло гладко. На фамилии-имени-отчестве он не сбился, но тут, как назло, какая-то старая карга влезла. Из тех персональных мафусаилов-общественников, которые, по-видимому, для того и получают пенсию, чтобы сосать кровь живых. Сто пятьдесят лет для них детский возраст, они скрипят до трехсот.

— Из документов видно, — сказала карга, — что вы были в плену, в Дахау?!

Голова у Яна подалась вперед, а шея вытянулась.

— Был, — сказал он.

— И живы остались?! — удивленно скрипела карга.

Острый яновский нос начал двигаться.

— Как видите, — сказал он.

— Странно! — зачмокала карга.

— И мне тоже, — сказал Ян. — А вас бы больше устроил обратный исход?!

— Я просто спрашиваю, — сказала карга и начала рыться в яновских бумагах.

— Не трудитесь, — сказал Ян, — я вам сам расскажу. В советских лагерях тоже был.

Карга конвульсивно дернулась и даже сделала попытку привстать со стула, но осталась сидеть.

— За пребывание в немецком плену?

— Так точно! — сказал Ян и нахально щелкнул каблукми.

Мертвые щеки карги зарозовели, а рука начала шарить по столу в поисках очков.

— Где были арестованы? — с перехватом дыхания спросила она.

— Здесь, под Москвой.

Карга нацепила очки и подалась вперед, уставившись в Яна. В пустых глазницах начало что-то оживать.

— А вы, случайно, не проходили подмосковный фильтрационный пункт Ч-175? — теперь ее бил электрический ток.

Ян проглотил горячую слюну.

На фоне освещенного солнцем решетчатого окна появилась черная тень. Лязгнул металл, залаяли собаки. Дужки очков сползли вниз.

— Советский солдат умирает, но не сдается, — визжал голос, — а вы предпочли сдаться, но не умереть...

Ян вытер губы и прислонился к стене. Черная тень исчезла. Карга сидела на своем месте, уставившись в него. Дужки очков сползли вниз. "Даже очки сохранились, — подумал Ян. — Интересно, она меня тоже узнала?!"

Карга будто поняла вопрос. Тело ее обмякло и втиснулось в стул.

— Всех не запомнишь, — прошипела она и сняла очки.

Ян снова присел, выбросив руки вперед.

— Пойдем, — сказал он мне, — выпьем. Я их расшвырял. Без меня обойдутся. — И мы пошли.

— Когда похороны? — спросил я.

— Встретимся послезавтра в девять, в морге, — сказал Яков и повесил трубку.

На столе сиротливо стояли огурцы и нарезанная колбаса. Я достал из холодильника водку, налил две рюмки — себе и Яну — и выпил обе. Потом взял соленый огурец. Он хрустел на зубах, как окоченевший труп. "А вдруг Ян опять всех обманул?" — подумал я, и мне стало смешно. Он ведь любил хохмы. И последний фильм его был каким-то хохмацким. Представьте, на нашей милой планете остался лишь единственный последний жулик. И для него содержится одна-единственная последняя тюрьма. И тюремщики, которые его стерегут, боятся, чтобы он не вел себя чересчур хорошо, иначе его могут выпустить раньше срока, и они раньше срока лишатся работы.

Наверное, после Дахау и наших лагерей ему так хотелось.

Я налил еще две рюмки водки и сказал вслух:

— Ладно, Ян, не дури. Фантастика тоже должна иметь предел.

А потом швырнул рюмку об пол и лег на диван...

Стояли сорокаградусные февральские морозы, но в цементном подвале морга было еще холоднее. Нас собралось человек пятьдесят. Мы стояли молча, подняв воротники пальто и дышали паром. Один лишь заросший щетиной Олег — он тогда отращивал бороду и был похож на каторжанина — толкался между нами и шепелявил сквозь выбитые передние зубы:

— Кто видел этого суку-Гришку? Подлюга! Я ему потроха выпущу. Должен Яну двести рублей, хоть бы сейчас отдал, гнида! Человека похоронить не на что. Вытряхай, ребята, скинемся.

И мы скинулись в олегову шапку.

Яна действительно не на что было хоронить. Все его сбережения оказались размером в три рубля. Я вспомнил, как однажды пьяный Ян стоял, прислонившись к столбу возле метро "Сокол", и произносил речь: "Граждане, москвичи! У кого финансовые затруднения — подходи, не стесняйся, одолжу с превеликим удовольствием". Люди смотрели на него и смеялись, а он без шуток готов был одолжить каждому. Тогда он получил свой первый гонорар за фильм. Но чаще было наоборот, чаще он сам "стрелял" по рублику.

Из разбитого окна несло снегом. На единственном табурете сидела Аня с двухлетней дочкой на руках. Носик у девочки был такой же остренький, как у Яна. У изголовья гроба стояла старуха в черном. Ее поддерживали с обеих сторон. Она была такая малюсенькая и худенькая, как начинающая балеринка, и такая старая, что даже не плакала. Глаза у нее были закрыты. Она спала стоя или, может, окоченела, как Ян. Иногда она приоткрывала один глаз и выкрикивала голосом мышки: "Майн зон! Майн зон!" Потом опять замирала.

— А ведь у него уже полгода, как было "приглашение", — сказал кто-то шепотом.

— Ну и что?! — сказал другой. — Она, костлявая, на это не смотрит. Бац — и в ящик!

— Может, отпустили бы, если бы подал... — сказал первый.

"Действительно, — подумал я, — может, пустили бы. Там все же теплее — Африка". И представил Яна, лежащего в центре Иерусалима. Кругом плакали бородатые евреи, а Ян лежал себе, задрав вверх острый нос. Ему было тепло и хорошо. "Все же приятнее", — подумал я и посмотрел на Яна. На нем был единственный пижонский костюм, в котором он шлялся по кабакам, а лицо сделалось мраморно-напряженным, как лед. Казалось, что оно вот-вот треснет от мороза. Меня начало знобить. Мертвецкий холод из гроба заползал под пальто. "Дурак, — подумал я, — надо было подавать, чего ты рожал!"

Ян действительно решал тяжело. Как-то, месяцев пять назад, он встретил меня на улице Горького, возле "Националя", взял за пуговицу и сказал:

— Идем, дед, выпьем, надо поговорить.

Вид у него был таинственный и солидный, вернее, надутый, будто он получил новую кинопостановку или, по меньшей мере, особняк в переулке. Мы пошли в "Националь".

В рестораны Ян умел заходить с особым шиком — помесь актерства и провинции. И за стол садился, как уставший бизнесмен после миллионной выигршной сделки. Своим видом он давал понять, что, возможно, закупит всю эту харчевню вместе с потрохами посетителей, но пока... салат и рюмку водки. Зато рассчитывался стыдливо, разглаживая

пальцем помятый рубль и выдувая крошки табака из пригоршни "серебряных" копеек. Временные затруднения аристократа!

— Куда сядем? — спросил я.

— К Юрию Карловичу, — небрежно бросил Ян и указал на крайний столик у окна.

"К Юрию Карловичу" — это значило к Олеше. Среди за-всегдаев ходила легенда, будто за этим столом, последние десять лет своей жизни, изо дня в день с рюмкой водки просиживал Юрий Карлович Олеша. Писать ему не давали, печатать — не печатали, вот он и просиживал здесь, одинокий и больной, с рюмкой водки и порцией огурцов, наблюдая мутными глазами за силуэтами этого мира. Говорят, будто он даже умер за этим столом: допил свою стопку, положил седую голову на стол и умер.

Ян верил в эту легенду, она ему нравилась. Особенно смерть. И книги Олеша он любил. Мечтал поставить "Три толстяка".

Мы сели. Ян исполнил свой петушиный танец перед официанткой и опять загадочно посмотрел на меня. Я молчал.

— Как дела? — спросил Ян.

— Плохо, — сказал я. — Украли сценарий и вышибли из титров.

— Правильно сделали, — сказал Ян. — Сосунок! Нашел с кем связываться! Гранин и Таланкин! Грязные бандиты, на лбу написано, и власть в руках. Этот фильм они бы тебе все равно ставить не дали, это же "эпопея р у с с к о й науки", а ты кто?!

— Ладно, — сказал я, — оставь меня, выкладывай свои тайны.

Ян оглянулся по сторонам, полез во внутренний карман пиджака и вытащил продолговатый конверт. Мне он его в руки не дал, а лишь показал, прикрывая пиджаком. И так все было ясно — вызов из Израиля.

— Ну? — сказал я. — Поедешь?

— Думаю, — ответил Ян.

— А чего думать?! Подавай и все. Здесь тебе ничего не светит, как, впрочем, и мне.

После одной истории Яну прочно закрыли пути. А виною, кроме еврейского носа, был опять же его язык. Случилось так, что он как-то попал в кабинет заместителя министра по кино одновременно с Мишей Вульфсоном. На этого замминистра надо только посмотреть, чтобы понять, что за тип. Одноглазый мужик двухметрового роста с волосатыми руками и голосом, как ерихонская труба. Хам, матерщинник и пьяница. Ему бы с топором на большой дороге крестьянские телеги грабить, а он культурой шурудил. Киношники его боялись панически. И на Мишу Вульфсона тоже надо посмотреть — тихий еврей с кроткими бараньими глазами. Вот этот невыспавшийся после ночной попойки головорез и начал на Мишу сапожищами топтать, включив свою глотку. А Миша стоял перед ним и испуганно долдонил:

— Да, да, виноват, слушаюсь...

И тут Яна прорвало. Вскочил петухом, голову запрокинул...

— Миша, говорит, как тебе не стыдно?! Ты был храбрым боевым офицером, смерти в глаза смотрел, землю эту защищал, ранен, в атаки солдат поднимал, а перед этим говном полные штаны наложил! Плюнь ему в харю!

Что здесь началось?! Бандит чуть сознание не потерял от ярости и попер на Яна, а Ян на него. Смешная картина, если посмотреть, — двухметровый головорез и петушок-Ян. Ян ему даже рта не дал открыть. У нормальных людей все бы так и окончилось. Подумаешь беда — два мужика сцепились! А у нас — нет, у нас такое не прощают. Власть задета! Зато громила Яна зауважал. Бывало, проталкивается на каком-нибудь торжественном сборище сквозь толпу киношников, все расступаются, кланяются, а Ян в стороне стоит. Бандит глазом поведет, Яна заметит и к нему, первый ручку тянет: "Здравствуйте, Ян Наумович! Как жизнь-здоровье?" Зауважал, но пути закрыл железной дверью, без щелей. Вот Ян и ходил уже два года без работы, стреляя у друзей по рублику.

— Зеленый ты еще, — сказал Ян и залпом опрокинул рюмку. — У меня эта земля, — он топнул ногой по полу, —

дахаускими и колымскими плетями на спине высечена, а ты говоришь "чего думать?"!

— Войны испугался?! — пошутил я, но Ян шутки не понял и начал злиться.

— Опять дурак, — сказал он, презрительно посмотрев на меня. — Если я за эту землю добровольцем в десантники пошел, то уж за Ерушалаим я бы в "комикадзе" определился.

— Тогда не ясно, — сказал я.

— Чего не ясно?! Там мои гены, а тут моя кровь. Вот и решай, как их соединить. Без того и без другого калекой будешь. Наши мозги так кручено-верчено деформированы, как у цепного пса представление о мире. А там здоровые люди нужны, а не клиенты инвалидного дома.

— Недавно я стишок слышал, — сказал я. — "Россия, отпусти меня в Израиль и, если можешь, в путь благослови".

— Вот именно, — сказал Ян. — Тут главное не "отпусти", а "благослови". На родину надо возвращаться с поднятой головой, а не мокрой мышью с тонущего корабля.

— Ну, положим, этот ракетоносец и без нас не утонет, а вот ты пузыри давно пускаешь, — сказал я.

Ян ничего не ответил, он думал.

Еще не один месяц он хватал за пуговицы друзей, излагая им свои идеи — о долге, чести, судьбе еврейского народа и его заветах, о любви к России и еще более горячей любви к Израилю... Его швыряло то влево, то вправо, он то опровергал, то утверждал, доказывая что-то сам себе. Ему эти излияния были нужнее, чем слушателям. Дозревал Ян медленно и тяжело. Раз пять, встречая меня, он говорил:

— Все, дед, решено! Точка! Завтра подаю!

Мы договаривались, что после похода в ОВИР он позвонит и мы это дело отметим бутылочкой, но Ян не звонил, и я понимал, что ни черта он еще не решил, видимо, опять поймал кого-то за пуговицу...

Но вот четыре дня назад Ян сказал:

— Все, дед, завтра подаю.

Сказал так, что я поверил и отправился за водкой...

Кто-то взял меня за рукав.

— Пошли, — сказал Яков. — В катафалке всем места не хватит, поедем на троллейбусе.

И мы вышли из подвала.

Город был белый, пустой и морозный, как последнее видение умирающего. Редкими темными пятнами проплывали одинокие прохожие, уткнув лица в воротники, откуда поднимались клубы пара. Иногда фыркала машина и медленно исчезала в белой пустоте. Лишь дома, потеряв свой объем, выглядели четче, будто опять вернулись на толстый ватман архитектора.

Когда мы подъехали к кладбищу, у ворот уже топтался тот же народ. Мужик в тулупе, не снимая рукавиц, пытался засунуть ключ в амбарный замок, чтобы пропустить катафалк. Все стояли молча, постукивая для разогрева каблукми и потирая уши, наблюдали за ним, а Олег тихо матерился. Ключ не лез, видимо, внутри замерзла смазка. Мужик покряхтел еще минут пять, но рукавиц не снял — одно прикосновение к металлу обещало ожог. Тогда решили вносить гроб на руках, через калитку.

Ян лежал, посмеиваясь над нами. "Вот хитрый еврей, — подумал я, — опять всех обманул: как бы и уехал из России и как бы не уехал..."

Яна внесли за ворота. Кто-то сбегал в сторожку и, сунув охраннику пятерку, выволок во двор стол. На него поставили гроб. Теперь Ян смотрел в космическое холодное небо. От всех шел пар, а от Яна — нет, он уже был в безвоздушном пространстве. Откуда-то появилось черное покрывало с шестиконечной звездой. Им накрыли мертвеца. Выросший из-под земли древний дед с библейской бородой начал певуче читать молитву. Возле гроба остались родственники и еще несколько смельчаков во главе с Олегом, а большинство, будто невзначай, отошли в сторонку — у каждого была своя работа, свой дом, своя жизнь, а стукачей мы знали в лицо...

Но разве мог Ян покинуть эту землю без происшествий?! Оказалось, что разрешение на могилу, о котором было договорено вчера, срочно отдали какому-то ветерану, а без разрешения могил на кладбище нет. И вот сейчас, торопясь, могильщики долбили новую яму в лесочке за кладбищен-

ской оградой, где уже лежало несколько десятков таких же неприкаянных.

Проваливаясь в глубоком снегу и боясь уронить мертвеца, мы двинулись к лесочку. Ян плыл на руках, постукивая модельными ботиночками о стенки гроба. Представляю, какой каскад ругани он бы выпустил, если бы мог. А может, и выпускал, только мы не слышали?!

Яма была еще не готова, а земля от мороза каменная. Кто-то сбегал за водкой, и дела у могильщиков пошли веселее. Но мороз крепчал. Глядя на старуху, нетрудно было предположить, что, возможно, потребуется еще и вторая яма. Мы разожгли костер, посадив ее под самый огонь. Дым от костра поднимался высоким шлейфом в холодное небо и траурным черным флагом плыл в сторону Москвы. На нем не хватало только звезды Давида.

— Самое времечко для погрома, — сказал Олег, оглядев нас всех, но шутка не пошла.

Мы стояли молча, окружив лежащего на земле Яна, и яростно постукивали одеревеневшими ногами. О чем думал каждый из нас — о вечности или об отмороженных пальцах?!

Но вот могильщики, крикнув, допили бутылку и вылезли из ямы.

— Готово, — сказал один из них, потирая красный нос.

Все посмотрели в сторону старухи. Она сидела спиной к огню, закрыв глаза и шевеля губами. Казалось, что и она по частям улетучивается с черным дымом.

Профсоюзных речей не намечалось — не та компания. Но Олег вылез. У него чесался язык. Видимо, он уже успел хлыбыстнуть где-то стаканчик для согревания.

— Евреи, ша! — сказал Олег, и мы перестали топтаться. — Спи, — обратился он к Яну голосом приказа. — Мы все тебя любим. Ты был хороший парень, большой вун и честный дурак. Это говорю тебе я, твой друг, русский человек, пьяница и хулиган, но не антисемит. — И он прощально хлопнул ладонью по крышке гроба.

От этого стука, каркнув, с дерева, как черный дух, слетела ворона и поплыла над заснеженным лесом. Было так тихо, что мы еще долго слышали хлопанье ее крыльев.

Начали опускаться. Но горлышко могилы оказалось чересчур узким, и Ян не желал влезать. Ему хотелось в последний раз поскандальить и стать на голову. Нам таки пришлось поставить его на голову, чтобы протиснуть боком. Могильщики уже взялись за лопаты, но тут в яму на заднице съехал Олег. Он вынул из кармана знакомый мне длинный конверт и аккуратно приклеил его на уголке гроба. На черной крышке белый конверт выглядел солидной почтовой маркой. Было похоже, что Олег намерен отправить Яна заказным письмом из этого холода на далекую теплую родину...

Подчеркивая тишину русской зимы, потрескивали от мороза деревья. Мы вытащили Олега за руки. Вниз полетели первые комья. И вдруг, сотрясая с ветвей снег, медными трубами грянул гимн Советского Союза. Это было так неожиданно, что, вздрогнув, все посмотрели на небо. Но небо оказалось ни при чем. Просто за кладбищенской оградой хоронили ветерана. "Ну вот, — подумал я, — Россия благословила тебя в дорогу, Ян. Теперь ты можешь быть спокоен!"

...Кто-то положил мне руку на плечо. Это был мой приятель-немец.

— Где ты? — сказал он.

— Далеко, Георг, — сказал я, — в России.

— Пойдем отсюда, — сказал он, — на тебя сильно действует Дахау.

— Да, Георг, сильно, — сказал я. — Видишь ту фотографию на стенде — это мой друг.

— О-о-о! — сказал Георг, прочитав надпись под фотографией. — Он был смелым человеком. Шесть раз бежал из Дахау!

— Да, это правда, — сказал я и подумал...

...Вот и нашлось на свете одно странное место, Ян, где о тебе будут помнить очень долго...

*Март, 1976 г.*

## ШЛЮХА

"Здравствуй, Василь", — старательно вывела она неровным круглым почерком и поставила восклицательный знак. Чуть наклонила набок голову, полюбовалась написанным и прочитала, шевеля губами: "Здравствуй, Василь!" Потом передвинула кончик языка налево и начала с новой строчки. "Шлет тебе Мария пламенный привет из столицы нашей родины Москвы". Фраза была длинная и заняла полминуты. Она опять наклонила голову набок и перечитала ее. Подумала, обмокнула перо в чернильницу и попыталась исправить "р" в слове "родина" на заглавное. Кончик пера подцепил из чернильницы грязный лоскуток, отчего "р" превратилось в кляксу. Она огорченно поджала губы и начала снимать лоскуток с пера, осторожно, двумя пальцами. Пальцы вытерла о платье на коленях и опять принялась исправлять "р". Из кляксы она сделала головку буквы, а вниз потянула палочку. Получилось не заглавное, а слепое, толстое, даже нахально-жирное "р". Она несколько секунд смотрела на него, вздохнула, осторожно перегнула листок, оторвала написанное и начала все сначала. "Здравствуй, дорогая Мария!" — написала она. Кончик языка пошел налево. "Шлет тебе черноморский пламенный привет Василь!" По стеклу на столе, осторожно переставляя тоненькие ножки и смешно вращая круглой головкой, будто обнюхивая след, как охотничья собака, ползала неизвестно откуда взявшаяся пчела. Она стала наблюдать за ней. Пчела поползла по лицу аккуратенького гражданина под стеклом, который держал в руках телеграмму с четким адресом — "Могилевская область Бобруйский район Пролетарский сельсовет колхоз "Ленин с нами" Ивановой Устине Ивановне Мама приехала благополучно Целую Коля". Пчела переползла с телеграммы на молочную неоновую лампу, вмонтированную в стол, и сделалась прозрачной, как янтарь. Она протянула палец, чтобы дотронуться до пчелы, но та улетела. Тогда она перевела взгляд на строчки письма. "Шлет тебе черноморский пламенный привет Ва-

силь!" — перечитала она шепотом, шевеля губами, и дописала: "а также все мои друзья-моряки".

Никакого Василя в природе не существовало, то есть в природе существовало много разных Василей, но чужих. А Мария, которой Василь писал это письмо, была она. Иногда эти письма она даже отправляла почтой на свой адрес, но редко, чаще просто дописывала письмо, клала его в карман и шла домой. Дома она перечитывала письмо раз, два, три. На следующий день тоже перечитывала вдумчиво, с остановками, представляя себе Черное море, огромный белый корабль с красивым названием "Шота Руставели", который она видела на обложке журнала, и Василя, стоящего наверху и машущего ей рукой. Рядом с ним стояли его черноморские друзья-моряки. Когда письмо надоедало, она прятала его под белье в комод. Справа лежали письма, которые она писала Василю, а слева его письма ей. С Василем переписка тянулась уже пять месяцев, с тех пор как она прочитала в журнале о моряке черноморского флота, отличившемся при спасении какого-то иностранного корабля. "Наверное, американского", — подумала она тогда и стала представлять, как кричат и тонут люди, а Василь спасает их. До Василя она переписывалась с Федором. Но тот никакого отношения к морю не имел. Он был геологом. Ей снились таежные леса, медведи, опасности и бородатый Федор со смеющимися белыми зубами. Она рассматривала в журналах геологов, и все они были с рыжими бородами и смеющимися белыми зубами. Когда появился Василь, она не то чтобы забыла Федора, но все же сложила свои и его письма в одну стопку и спрятала в нижний ящик комода, чтобы очистить место для Василя и начать новую жизнь. Однажды она набралась храбрости и взаправду отправила письмо по адресу Василя, указанному в журнале, но ответа не пришло. Видимо, письмо затерялось. Больше она не отправляла. Так лучше. Так наверняка.

Было одиннадцать часов вечера — самое хорошее время. Огромный зал Центрального телеграфа не гудел народом. Ожидавшие свидания парочки уже встретились и разошлись по темным углам московских парков и вечеринок, а пол-

сотни стеклянных деловых окошечек телеграфа закрывались в восемь. Лишь в дальнем конце зала лениво работал "дежурный телеграф". Уборщица, гудя полотером, отодвигала стулья-тумбы от столов. За ней длинной змеей тянулся черный шнур. Там, где проезжал полотер, оставалась мокрая полоса. Мария посмотрела на извивающийся шнур и вспомнила геолога. "В тайге много змей", — подумала она.

— Теть Катя, — крикнуло окошечко "дежурного телеграфа", — вскипяти чай.

— Щас, — ответила теть Катя, и полотер замолк.

Стулья-тумбы стояли далеко от столов, будто за стол собирался сесть человек с пятиметровыми ногами и такой же длинной, тонкой спиной. Мария представила его пишущим. Он был похож на огромный вопросительный знак. А еще можно было подумать, что стулья собираются шагнуть к выходу, оттого и отошли от столов.

Днем пишущих было тьма. Они переминались за спинами сидящих в ожидании, когда те уйдут. А возле окошечек томилось еще больше. Там извивались длинные хвосты и переругивались сварливые голоса: кто за кем стоял, кто влез без очереди. Сейчас во всем огромном зале было почти пусто. Пишущих человек пять и сидящих от нечего делать — тоже человек пять. На сидящих без дела теть Катя, подъезжая с гудящим полотером, смотрела зло и что-то ворчала: или "давай, давай...", что значило — проваливай, или "нечего тут...", что значило то же самое. Поэтому сидящие без дела тоже старались водить пером по бумаге, пользуясь для этого лежащие на столах телеграфные бланки.

Сегодня письмо почему-то не получалось, и Мария наблюдала за окружавшим, делая вид, что пишет. Она знала этот зал не хуже своей квартиры. Еще бы, изо дня в день, не первый год... И теть Катя ее тоже знала, но никогда не заговаривала с ней. В первое время она косилась на нее зло и подозрительно и, кажется, даже нашептывала под гул полотера: "вот шлюха...", а потом, угадав секрет Марии, смягчилась и стала не замечать...

Справа, через стол, сидел старик с седой щетиной на лице, в грязной потрепанной телогрейке. С виду он был по-

хож на крестьянина, а может, спившегося рабочего, но перо бегало так быстро по бумаге, что выдавало человека грамотного. "Наверное, интеллигент, — подумала Мария. — Все пишет и пишет. Какой уж день?!" Она была права: небритый действительно писал что-то длинное и не первый день. Как и Мария, вечером он приходил сюда, раскладывал свои листы и начинал строчить. "Злой, наверное, и кляузник", — подумала Мария. Кляузников она такими и представляла — небритыми, с лихорадочно колючими глазами. Откуда ей было знать, что кляузник — это человек сытый, гладко выбритый и сидит он не в полупустом зале телеграфа, а за большим письменным столом с красивой лампой. А небритые, с лихорадочно горящими глазами, строчащие на телеграфе, — это не кляузники, а жалобщики, описывающие на длинных листах свою исковерканную судьбу и отправляющие на последние гроши свои мелкоисписанные страницы т у д а , в безответные и глухие верха. Этого Мария не могла знать.

Еще дальше, развалясь, восседал какой-то солдатик, облокотившись спиной о стол и нахально расставив ноги рогаткой. Не обращая внимания на злобные взгляды теть Кати, он меланхолически разглядывал светящиеся стенные часы.

"Может, с черноморского флота?" — подумала Мария и провела рукой по волосам. Волосы у нее были черные, длинные и оканчивались завитыми пружинками. Пружинки ей нравились, и дома она часто смотрелась в зеркало, подергивая головой, чтобы пружинки прыгали.

Мария наклонила голову к письму и закрыла глаза. Захотелось представить себе Черное море, которое она видела в кино. Кинотеатр находился прямо в их доме на первом этаже и назывался "Наука и знание". Туда она и ходила днем. Билет стоил десять копеек. На экране плескалось море, с гортанными криками носились белые птицы, кругом сияло солнце, а по пляжу, как ей казалось, шла она, Мария. Тело у нее было темное, упругое, очень загорелое и ноги длинные, стройные, загорелые. Все оборачивались и смотрели на нее, и она чувствовала себя красивой.

Она и вправду была красивой — черные брови, черные глаза, а лицо бледно-прозрачное, с ямочками на щеках. Днем, когда она подолгу сидела на своем втором этаже, облокотившись грудью на подоконник, с ней часто заговаривали молодые люди, даже шутили и спрашивали: "Чем вы сегодня вечером заняты?" Она смеялась и говорила: "Еще не знаю!" или "У меня свидание". В такие минуты она верила, что у нее действительно свидание. Молодые люди приглашали встретиться. Она опять смеялась и говорила: "Подумаю!"

Это были приятные летние часы, если, конечно, не шел дождь. Под дождем все торопились, и никто не останавливался. А зимой окна вообще заклеивали. Становилось грустно и скучно, оставался только телеграф. Там было тепло.

К летним оконным часам, как и к телеграфу, Мария готовилась тщательно. Распускала волосы и мыла их в тазике. Иногда просила у соседок немного шампуня. Соседей было много — восемь семей в одной квартире, и она просила у всех по очереди. Просить было неудобно, но они хорошо к ней относились и давали, ведь она не мешала им жить, не толкалась на кухне и не устраивала там ссор, а имела бы право — кухня принадлежала всем. Там даже стояло восемь газовых плит, из которых одна плита была ее, Марии, и над ней висела ее, Марии, электрическая лампочка. Ванну и туалет она тоже не занимала в пиковые часы, когда все торопятся на работу и выстраиваются в очередь. Она ходила туда потом, когда квартира пустела. Иногда она помогала соседской старухе, и та давала ей рубль, но сама Мария этого рубля никогда не просила. Зато в длинном темном коридоре был ее угол. Там стоял стул без одной ножки, под ним ящик с картошкой, на нем тазик и тряпка для пола, а рядом щетка. У других стояли деревянные лари со старыми вещами и обувью, запертые на большие висячие замки, но у нее ларя не было. В общем, она мирно жила с соседями, и только один раз вышла неприятность.

Случилось это в воскресный день, когда все были дома. В дверь позвонили, и она пошла открывать. На пороге

стоял старик и девочка лет тринадцати. Старик был слепой и молчал, а девочка что-то говорила тихим, почти неслышным голосом — не то про наводнение, не то про пожар. Она была очень худая, грязная, а глаза круглые, печальные, с горькой тоской. На плече у старика висела котомка. Мария растерялась и сказала: "Войдите". Они переступили порог и виновато остановились. Мария тоже стояла, не зная, что делать дальше. Девочка смотрела на нее круглыми, как с иконы, глазами и держала старика за рваный рукав. Старик вздыхал.

— Кто там? — спросила соседка, выходя из кухни.

— Нищие, — сказала Мария.

— Пошли, пошли, — сказала соседка, подходя поближе. — Самим жрать нечего... Бог подаст...

Старик потоптался на месте и, кланяясь, начал пятиться. Девочка опустила глаза и вытерла грязным кулачком рот.

— Так ведь... — сказала Мария. Она хотела еще что-то сказать, но что сказать, не знала.

— Ну и дай, если ты такая миллионерша, — наступая на нищих и вытесняя их в дверь, сказала соседка. — Мало их тут шляется?! Еще обворуют...

Лицо девочки сморщилось, и по щекам поползли слезы. Она прижалась к старику и тоже попятилась к двери.

Мария почувствовала холод в теле. Лихорадочно опустив руку в карман, она нащупала там смятый рубль и сунула его в маленький кулачок нищенки. Кулачок сжался и стал крошечный, как орех. Иконные глаза благодарно посмотрели в лицо Марии. Неожиданно грязный ротик прильнул к ее руке и поцеловал... Губы прошептали что-то о Божьей милости...

Соседка зло фыркнула и пошла на кухню, бросив на ходу:

— Барыня задрипанная! Сама попрошайка, а еще рублями разбрасывается...

Входная дверь закрылась, а Мария все продолжала стоять. Она была переполнена тяжелым чувством жалости и вдруг почувствовала отвращение, глубокое отвращение к нищете. Она взяла мыло и, не смея шевельнуть рукой, на которой

был запечатлен знак нищенской благодарности, сознавая, что делает нечто гадкое и злое, пошла мыть руки.

Остаток дня она не выходила из комнаты и даже не подходила к окну, слыша через стенку, как басистые голоса соседок на кухне обсуждали ее нахальный поступок с рублем. Ночью ей приснились девочка и старик. У старика изо рта росли клыки. Она проснулась и больше не спала...

Громко ударили большие телеграфные часы. Мария подняла голову. На часах стояло четыре ноля — ноль, ноль, ноль и ноль. Последний ноль пополз вверх, и вместо него появилась единица. Снизу на табло выползла цифра восемь и получилось восемнадцать, а дальше стояло слово "сентябрь" и опять цифра — 1973. Мария подумала о том, что через десять дней у нее день рождения — двадцать пять лет. В этот день она обычно вынимала из комода все фотографии, раскладывала их на кровати и начинала вспоминать. Отца она не знала, а мать умерла шесть лет назад. Она работала на цементном заводе и однажды не вернулась домой. Ее увезли прямо в морг. Жили они в той же комнате, что и сейчас, и соседи были почти те же, только один старик умер. Сначала Марию все жалели и охали, а потом привыкли. Ей дали пенсию тридцать восемь рублей в месяц, и она жила. Днем она редко выходила на улицу, больше сидела у окна, а если и выходила, то только в магазин по просьбе соседской старухи или в кино на первый этаж. Зато когда наступал вечер и становилось темно, она приглаживала волосы, накидывала на плечи черный цыганский платок с красными цветочками и бахромой, подаренный той же старухой, и, опустив голову, чтобы не встречаться со взглядами прохожих, медленно шла на телеграф, стараясь держаться поближе к стенам домов. Ей не нравилось, когда ее осматривали люди. На телеграфе она поглубже усаживалась за стол и поднимала голову, разглядывая зал. Эти часы были приятны. Она писала письма и смотрела на людей, думая о них и о себе тоже. Иногда ей казалось, что сегодня вечером произойдет что-то особенное, и тогда она с нетерпением дожидалась темноты, чтобы пойти на телеграф. Изредка с ней заговаривали чужие мужчины, и она охотно отвеча-

ла им, а однажды с ней шутила даже группа студентов. Они посылали кому-то телеграмму, читали ее вслух и спрашивали: "Нравится?" Телеграмма была непонятной, но смешной. Она смеялась и говорила, что нравится. Было весело. В один вечер действительно произошло неожиданное. К ней подсел какой-то толстый человек. Он был пьян, но держался. Незнакомец заговорил о погоде, а потом пригласил выпить пива. Она подумала и согласилась. Пива она никогда не пила, но этого она ему не сказала. Они прошли один квартал пешком, а потом, искоса посмотрев на нее, он взял такси, которое довезло их до гостиницы "Балчуг". Она думала, что они пойдут в ресторан, в котором она тоже никогда не была, но мужчина сказал, что он тут живет и что пиво принесут в номер. Когда они поднимались по лестнице, горничные смотрели им вслед и перешептывались. Пиво действительно принесли в номер и водку. Он выпил водки и совсем опьянел. Она тоже выпила, и ей стало весело, как когда-то в детстве от смеха. Проснулась она от громкого стука в дверь. Голос за дверью строго произнес: "Товарищ жилец, пора выпроваживать гостей!" Она лежала голая на кровати, и он тоже голый, но в майке, лежал на ней и спал, уткнувшись лицом в ее живот. Она выползла из-под него и начала одеваться. Он проснулся и сел на кровати, наблюдая за ней.

— Чего ж ты не сказала, что в первый раз? — спросил он. Она ничего не ответила.

— Ладно, не обижайся, — сказал он и пошел проводить ее до двери.

Она и не обижалась, он был неплохим человеком, но в душе, как холодная медуза, шевелилась тоска.

— Подожди, — сказал он у двери и зашлепал босыми ногами обратно в комнату. Там он что-то взял, вернулся и сунул ей в карман.

— Доедешь на такси, — сказал он и потрепал ее по щеке. — Ты хорошая девушка, не грусти... Жизнь — трин-трава...

На улице была ночь. Она хотела идти пешком, но болели ноги. В освещенной кабине такси сидел водитель и читал газету.

— Поедем, что ль? — сказал он.

Она села.

— А деньги есть? — подозрительно посмотрел на нее водитель.

Она нащупала в кармане хрустящую бумажку и отдала ему.

— Не жмот попался? — рассмеялся водитель.

... Мария хотела думать дальше, но ее прервал голос и вернул на телеграф. Рядом стоял мужчина кавказского типа с чемоданчиком. Во всем огромном зале было свободно, но он хотел сесть именно здесь.

— Не занято, — сказала Мария.

— Благодарю, — галантно произнес мужчина с нерусским акцентом и сел. — Письмо пишете?

— Да, — сказала она и обмакнула перо в чернила.

— Другу, наверное? — осведомился мужчина, облокотясь о стол и улыбаясь в черные усы. Она тоже улыбнулась и посмотрела на него. По центру головы расположилась лысина, а вокруг, как нимб, жиденькие волосики.

— Жениху, — сказала она, — на Черное море...

— Отдыхает или служит? — осведомился мужчина.

— Служит, — сказала она, — на черноморском флоте...

— Отличное место, — сказал мужчина, — я сам оттуда, из Сухуми, а сюда в командировку приехал... Вы бывали на Кавказе?

— Нет, — сказала она.

— Вах-вах-вах... — защелкал языком сосед. — Приедете — моим гостем будете! Вино, фрукты, солнце, море — сколько пожелаете...

Мария рассмеялась:

— А как я вас найду?

— Отар, — приподнялся мужчина. — Отар Чегошвили. Кого хотите в Сухуми спросите — все покажут. А вас?

— Мария, — сказала она.

— Очень приятно, — сказал он, — Вы тоже приезжая или, может, здесь живете?

— Здесь, — сказала она, — на старом Арбате...

— Москвичка, значит, — заулыбался мужчина. — Люблю

москвичек — веселый народ, — сказал он и подмигнул.

Мария опять засмеялась и откинула назад волосы с пружинками. "А он ничего, — подумала она, — веселый...", и ей стало хорошо.

— С мамой с папой живете? — осведомился мужчина.

— Нет, одна, — сказала Мария, — с соседями...

— Может, выпьем чего-нибудь?! — сказал мужчина и хлопнул по чемоданчику. — Я такое вино привез! — он закатил глаза... — Вах! Пальчики оближете... "Цинандали"... Чистый виноград, как слеза...

Марии стало совсем тепло и весело. Она помедлила, чтобы не очень быстро соглашаться, и наклонила голову набок. Он скользнул взглядом по ее лицу, фигуре и даже попытался заглянуть под стол, где были ноги, но сплошная стенка отгораживала их от него.

— Можно, — сказала Мария, — но лучше пива...

Про пиво она сказала просто так.

— Идет, — быстро согласился мужчина. — А где его сейчас взять?

Мария тоже не знала, где сейчас взять пиво, но, чтобы не терять разговор, сказала:

— В "Балчуге"... Это гостиница такая... Там до ночи работают...

— Годится, — сказал мужчина и встал. — Сейчас такси схватим...

Она посмотрела на него снизу вверх. Он ожидательно стоял и улыбался в черные усы. Она немного помедлила, думая что-то и решая, потом отодвинула тяжелый стул-тумбу и, чуть качнувшись, встала, не спуская глаз с его лица. Улыбка под черными усами сначала застыла, потом окаменела и вдруг начала превращаться в гримасу. Глаза выразили растерянность и испуг. Все это продолжалось не больше секунды. Он что-то гортанно вскрикнул на непонятном языке, дернул головой, плюнул себе под ноги, круто повернулся и, громко стуча подковками каблуков по кафельному полу, не оглядываясь побежал к выходу, размахивая чемоданчиком. Цокот каблуков отражался от высокого потолка и далеких стен огромного пустого зала.

Мария неподвижно стояла, уставившись в плевок на полу. Лицо ее сделалось белым, шея вытянулась, пружинки дрожали. Она глотала воздух...

— Сволочь, — вдруг закричала она вслед бегущему хриплым мужицким голосом. Зубы сами по себе оскалились, — Говно. Блядь. Шлюха. Хуй моржовый. Сука черномазая...

Ее голос тоже отражался эхом от стен пустого зала и гневно гудел последним звуком, будто расстреливая спину беглеца. Но вот спина исчезла.

Из окошка "дежурного телеграфа" высунулась любопытная голова.

Мария качнулась вправо, влево и тяжело опустилась на тумбу. Неоконченное письмо лежало на столе. "Шлет тебе черноморский пламенный привет Василь!" На лист упала влажная капля. Мария хотела смахнуть ее пальцем, но размазала. Тогда она скомкала листок всей ладонью и бросила его под стол. Затем встала и тяжело, по-гусиному, переваливаясь с плеча на плечо, опустив голову, медленно двинулась на своих малюсеньких кривых полиомиелитных ножках к выходу. Громадная дверь телеграфа жалобно заскрипела и выпустила ее в ночь...

*Сентябрь, 1975 год.*

Рассказы Соломона Шульмана пришли по каналам Самиздата, и естественно вопрос о их публикации редакция согласовать с автором не могла.



*Илья БОКШТЕЙН*

## ТЫ НА ЗЕМЛЕ ОШИБКА

x x x

А может быть, и жизнь моя ошибка?..  
 Но чья? Природы иль надмысленной души?  
 А может, рождена она избытком  
 Сожженных солнцем солнечных вершин?  
 И словно зов, зловещий и затайный:  
 "Ты на земле ошибка. Уходи!" —  
 "Куда уйти?"  
 Горит в ночи бескрайней  
 Утес-самоубийца на пути.

x x x

Одинокое молчанье наше  
 Обоюдного касанья тоньше...

**ЭЛЕГИЯ ПЕРВАЯ**

Скажи мне, ветер,  
 кружить мне долго ль на свете?  
 кому мне жизнь и душу подарить?  
 Хочу узнать я,  
 ужель так тесно на планете,  
 что негде голову мне приклонить?  
 Домой вернусь,  
 а вьюга окна мне исхлещет.  
 Чернеют мысли.  
 Ночь-монашенка в груди.  
 Но словно в юности,  
 крылатая слеза в душе трепещет,  
 а тайный голос  
 ей шепчет: жди!  
 Скажи, Создатель,  
 зачем надежду не убил ты?  
 Не сладит с нею  
 душа тревожная моя. —  
 В одно я верю:  
 что я не лучший в этом мире,  
 а мир не лучше небытия.

**ЭЛЕГИЯ ТРЕТЬЯ**

Умолкли леса и просторы,  
 спокойствие в сумраке рощ.  
 Из темных лесных коридоров  
 тиха затаенная мощь,  
 не светится влага в овраге,  
 не плещется в озере свет,  
 и в кронах не слышно дыханья...  
 Все в мире полно ожиданьем —  
 там твой завершается след.

**ТИШИНА**

В темном углу под лестницей  
 чуть светится капля плесени.  
 Тишина.  
 Балка обрушится,  
 если чуть прислушаться.

x x x

Масштаб комедии до мелочей продуман.  
 И смелость,  
 даже самая нелепая,  
 мне кажется свободой воли.  
 Но, если обойти трагедию предназначенья,  
 история меня не обессмертит.  
 и в судьбе потусторонней  
 конец мой будет равносильен  
 здешнему забвенью.

x x x

Ветер стих, растворилось окно:  
 Кромка ночи в излучинах гор чуть заметна...  
 Даже черти не скажут, как мне черно, —  
 Ведь тоска у чертей одноцветна.

**НАЧАЛО "ФЕДРЫ"**

Решенье принято, друг Терамен.  
 Всегда меня смущал узор трезенских стен.  
 В смертельной бледности сгораю в тишине,  
 Вся боль и стыд на медленном огне.  
 Шесть месяцев не знаю, где отец;  
 Бесчестье и позор сегодня мой венец,  
 И завтра — тоже. Где ж его причал?  
 — Где ж, государь, искать?  
 Он не один пропал.

**ИЗ "МАКБЕТА"**

Кровь тяжелей сейчас, чем в оно время.  
 Закон-то человеческий жизнь подчистил.  
 С тех пор убийство тоже изменилось.  
 Так страшно слышать!  
 Вот раньше, когда из кости выбит мозг, —  
 Человек умрет. На том конец.  
 А нынче он встает опять.  
 Хоть двадцать ужасных ран в его короне,  
 И гонит нас от наших кресел.  
 Вот, что удивляет больше, чем убийство.

**ИЗ Т. ЭЛИОТА**

Глаза, что в последний раз  
 Я видел в слезах,  
 Сквозь разделенность,  
 Здесь, в мертвом царстве мечты,  
 Золотое виденье урожая,  
 Я вижу глаза, но не слезы.  
 И в этом моя тревога,  
 И в этом моя тревога.  
 Глаза, что больше никогда не увижу,  
 Глаза решенья,  
 Глаза, что больше нигде не встречу,  
 до двери другого,  
 смертного царства,  
 реального, как мое...  
 Глаза, чуть больше,  
 чем слезы,  
 чуть дольше, чем слезы,  
 нас потрясают насмешкой.

**ИЗ ВЕРДЕНА**

Осиновых скрипок осенние стоны  
 Сужают мне сердце струной монотонной,  
 Так тихо тоскливы на стенке часы.  
 Бледнеет и плачет в них память весны.  
 Я с ней ухожу, в желтый ветер одевшись,  
 По лесу кружу — легкий листик умерший.  
 А лес такой жалкий, как травы дорог;  
 Из страха рождается пень-носорог,  
 И холодно так, будто стал я землей,  
 Рассудок мой, птенчик, стучит под корой.  
 Иду. Где же кончится лес? где дома?  
 Навстречу скользнуло мне женское что-то.  
 Смотрю я: увы! россоха-зима...  
 Я спрятался в куст, он стрекочет —  
 Там слизь еще не замерзла —  
 Заветами лета, завещана летом —  
 Там острый остаток зеленого цвета —  
 На полированном холодом теле моем —  
 Любви одичалой каприз.



Рина ЛЕВИНЗОН

## КОРНИ

Х Х Х

Пусть никакого скарба за плечом,  
 Чтоб двигаться легко, почти летая.  
 О Господи, вот истина простая,  
 Все отдавай и будешь богачом.

Бог не велел нам заводить добра,  
 И дал в награду ремесло такое,  
 Которое, скорей всего, игра  
 С карандашом, бумагой и тоскою.

х х х

**Посвящается Владимиру Маркману**

Как будто не по силам ноша.  
 Доспехи эти не про нас.  
 Кто здесь плохой и кто хороший,  
 И где здесь правда без прикрас.  
 Не разобрать.

Когда б не эти  
 Мальчишки, мальчики в тюрьме,  
 Подобно вспышке иль ракете,  
 Суть прояснили на земле.  
 О мальчики, как бьются жилки  
 Под сенью юной седины.  
 Опять за выбор платят жизнью,  
 Как будто нет другой цены.

## КОРНИ

Искала корни в дедовской земле,  
 Там, где трава звенит легко и вольно.  
 Я шла по ней, и было очень больно,  
 Как будто я шагала по золе.

Кривые переулочки квартала,  
 Где было гетто. И средь бела дня  
 Там в яме для расстрела погибала  
 Вся мамина и папина родня.

По улочкам, летящим вверх и вниз  
 В том городке, как долго я ходила.  
 И вот уж звезды первые зажглись...  
 Искала корни.  
 А нашла могилы.

## МАМА

Ее лицо — прекрасней нет!  
 Прекрасней ничего не знала.  
 Оно напоминать мне стало  
 Забытый бабушкин портрет.

Уходит мама. За собой  
 Глухие двери затворяя.  
 И я неслышно повторяю:  
 "Остановите шар земной..."

Остановите шар земной...  
 Не надо ни огня, ни света —  
 Оставьте маму. Только это  
 Оставьте навсегда со мной.

х х х

Я от людей устала. Отдохну,  
 Но ненадолго. В этом нет секрета.  
 О Бог, не оставляй меня одну,  
 Пошли мне друга, брата и соседа.

Куда спешить? Еще не минул час,  
 Еще так много сил и много света,  
 Отныне, и навеки, и сейчас  
 Пошли мне друга, брата и соседа.

Мне кажется, я все перенесу,  
 Вилась бы только надо мной беседа  
 На языке родном.  
 В глуши, в лесу  
 Пошли мне друга, брата и соседа.

х х х

Кто мелом очертил наш круг,  
 И надо ль разрушать устои?  
 Вот тихий двор, зеленый луг  
 И дело самое простое.

Куда ж и за каким теплом  
 Душа, как странница, стремится.  
 Вот жизни светлая страница:  
 Дитя, родители и дом.

х х х

Земля качается, кончается слеза,  
 Душа черствеет и мертвеет тело.  
 Метет метель и различить нельзя  
 За нею ни границы, ни предела.

Но после этих бурь так воздух чист,  
 На белом поле — солнечные пятна,  
 И ничего не жаль, и все понятно,  
 И ничего не стоит слез моих.

х х х

Найди три ветки, два стебля,  
 Приколоти к стене пейзажик,  
 Чтоб лодка с парусом плыла,  
 И на волне качалась баржа.

Пусть звуки все войдут в наш дом,  
 И ярче будет освещенье.  
 Скажи два слова, а потом  
 Одно отыщем мы решенье.

х х х

Бывает горек вкус свободы,  
 Когда в звенящей тишине  
 Сомкнутся надо мной, как воды,  
 Твои стихи не обо мне.

Как будто вдруг волной смывает  
 Все то, чем я была сильна,  
 И нежность тихо убывает,  
 И вольность больше не нужна.

х х х

Не сбылось, не сошлось.

Ну и с Богом...

Комом в горле, слезой на щеке,  
 Непонятым и сбивчивым слогом  
 Пусть подышит недолго в строке.

Не случилось. Так, может быть, лучше  
 Легче дальняя светит звезда.  
 Петь да плакать — вот сладкая участь.  
 А сбылось бы — что делать тогда?



АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ  
 ШАХМАТНОЙ ПОЭЗИИ

Издательство "Ладья"  
 Нью-Йорк

Цена 20 лир. Заказы присылать по адресу:  
 ул. Нахмани, 62, издательство "Время и мы".  
 К заказу должен быть приложен чек.



Артур КЕСТЛЕР

## ТРОПА ДИНОЗАВРА

Если мысленно представить себе все возрастающую власть человека над окружающей природой в виде, скажем, диаграммы, то на протяжении примерно полумиллиона лет — от Питекантропа и вплоть до пятого тысячелетия до нашей эры — кривая шла бы довольно равномерно, почти по горизонтали. Затем после изобретения блока, рычага и других механических устройств сила человеческих мышц увеличилась бы, может быть, впятеро, но после этого кривая снова — и в продолжение еще пяти-шести тысяч лет — шла бы почти горизонтально.

В последние триста лет, начиная примерно с 1600 года, кривая впервые в истории человечества взлетела бы круто вверх и приняла бы чуть ли не вертикальное направление. Если соблюдать масштаб, то для составления такой диаграммы пришлось бы использовать несколько километров миллиметровки, и лишь на последних сантиметрах кривая так внезапно поднялась бы вверх — подобно кобре, взметнувшейся ввысь.

Вторая, более специальная кривая, которой мы хотели бы

изобразить разрушительный потенциал этой растущей мощи, имела бы еще более драматический вид: достаточно вспомнить, как после Первой мировой войны (то есть всего лишь сорок лет назад) статистики подсчитали, что для уничтожения одного неприятельского солдата потребовалось в среднем десять тысяч винтовочных пуль или десять артиллерийских снарядов.

Противопоставим теперь этим двум диаграммам еще и третью, которая изобразила бы прогресс человеческого рода в области этики, философской мудрости, моральной зрелости. На протяжении доисторических километров кривая эта шла бы медленно и чуть-чуть вверх; но потом, когда кривая мощи устремилась бы ввысь, кривая этическая начала бы нерешительно колебаться вверх и вниз, чтобы под конец на последней драматической миллионной доле таблицы, когда кривая мощи с безумным ускорением устремляется к небу, круто пойти вниз. Однако духовный вакуум на конце этой диаграммы не столь наглядный, как взлет мощи; ниже я еще вернусь к "этической кривой".

Своеобразным у этих воображаемых диаграмм является то, что на них получается в высшей степени необычный тип кривых, некий геометрический уникум, вынуждающий нас измерять время сначала в единицах сотен тысяч лет, затем тысячелетий, столетий, десятилетий, пока наконец один-единственный год имеет больше веса, чем в более ранние периоды десяток тысяч лет. Процесс, который, перешагнув известную черту, обнаруживает этот тип катастрофического ускорения, называется в физике взрывом. Бесстрастный наблюдатель из другого мира, для которого наши столетия были бы секундами и который мог бы обозревать всю кривую одновременно, неизбежно пришел бы к выводу, что наша цивилизация стоит непосредственно перед взрывом, если только не в самом разгаре взрыва.

.....

Мне хотелось бы несколько продолжить этот геометрический способ рассмотрения человеческого развития и указать

еще на две кривые, из которых первая изображала бы прогресс в области средств связи и информации, а вторая — во взаимопонимании. Кривая связи (под "связью" нужно понимать как транспорт, так и связь, основывающуюся на оптических и акустических средствах) тоже остается на протяжении эонов почти горизонтальной, после же изобретения печатного дела, парохода и железных дорог, автомашины, граммофона, телефона, кино, самолета, радио и телевидения (за исключением книгопечатания, все эти открытия зажаты в одно лишь столетие!) поднимается круто вверх, вплоть до точки почти полного насыщения, то есть до той точки, когда все участки земной поверхности будут связаны между собой как оптически, так и акустически. Можно было бы ожидать, что это обусловленное техническими успехами связи сокращение земной поверхности приведет к соответствующему увеличению ее духовного единства, однако этого не наблюдается. Сокращение пространственных расстояний между народами не сблизило их; путешествие в третьем измерении не устранило ни Китайской стены, ни железного занавеса, а только подняло их в воздушное пространство: цензура и помехи раскололи даже всеобъемлющий эфир. Даже между двумя столь тесно соседствующими и взаимно связанными народами, как народы Франции и Англии, взаимопонимания и взаимной человеческой симпатии ныне не многим больше, чем было в те дни, когда для покрытия расстояния между ними требовались не часы, а сутки.

Столь же мало расширило интеллектуальный кругозор человека, его способность к абстракциям и анализу увеличение радиуса действия его органов чувств через радио и телевидение. Похоже, что происходит как раз обратное: чем шире круги изображения и звука, тем, пожалуй, более скудеет духовное и моральное содержание сигналов. Похоже, что у нового поколения, рожденного уже в эру телевидения, уменьшилась не только привычка к чтению, но и способность мыслить отвлеченными понятиями, так как дети привыкли к более легкой — и примитивной — форме зрительного восприятия; после четырех часов телезрения ежедневно

мышление заменяется глазиением. Об опасностях этого рецидива, то есть отхода от концептуального к рецептуальному, можно почитать у Кречмера; они не так явны и выпуклы, но не менее пагубны, чем гораздо более бросающийся в глаза рост разрушительных сил.

Резюмируя, можно бы сказать, что наши диаграммы указывают на беспримерное увеличение мощи и расширение радиуса действий как органов чувств человека, так и его двигательных органов, совпадающие с заметным упадком интегрирующих функций, определяющих духовную зрелость и социальную этику. В истории, правда, немало примеров того, что нравственные спады сменяются периодами нового подъема; однако тревожным является здесь то, что неслыханный духовный упадок совпал по времени со столь же неслыханным ростом могущества. Похоже, что миф о Прометее становится былью, причем в ужасном варианте: титан, посмевавшийся похитить у богов огонь, морально невменяем. Отсюда трудность — как писал Бертран Рассел несколько лет назад — "уговорить человека, чтобы он добровольно остался в живых".

Каждая попытка такого уговаривания должна принимать в соображение как ближайшие, так и отдаленные аспекты современного положения вещей. Первые носят политический характер, вторые же — трансцендентальный, но оба влияют друг на друга гораздо непосредственнее, чем мы это себе обычно представляем. Политический деятель, не разглядевший трансцендентальный фон кризиса, может предложить всего лишь временные панацеи, тогда как святой, решивший остаться в такое бедственное время в стороне, принимает на свою душу грех неисполнения.

В плоскости практической политики, которую мы рассмотрим в первую очередь, нужно всегда отличать желаемое от возможного. Мы знаем сейчас, что атомная война равновесна массовому самоубийству человечества. Устранение угрозы атомной войны вполне желательно, но лежит за пределами возможного. Ибо запрещение атомного оружия могло бы быть эффективным лишь тогда, когда все стороны согласились бы на систему международного контроля,

предусматривающую постоянные инспекции, а это означало бы отпирание всех замкнутых дверей секретных лабораторий, заводов, шахт и военных сооружений. Но такая процедура противоречит, с одной стороны, традициям тайной политики и недоверия, которых веками придерживались Россия и азиатские государства; она противоречит, с другой стороны, основополагающим принципам и политической структуре всех диктаторских режимов — как коммунистических, так и некоммунистических. Диктатура, которая допустила бы демократический контроль — внутренний ли или международный, — перестала бы быть диктатурой. Китайская стена и железный занавес — не случайности истории, а увесистые символы национальных традиций и политических форм правления, существование которых зависит от того, в состоянии ли они ограничивать свободное передвижение людей и идей.

Если бы у нынешних правителей России даже появилась готовность подвергнуть себя эффективному международному контролю и постоянным проверкам, они так же мало могли бы себе это позволить, как, скажем, отмену цензуры, политической полиции, однопартийной системы и других существенных элементов диктатуры. Соображения о том, хороша ли та или иная диктатура или дурна; является ли она диктатурой рабочих, крестьян или зубных врачей; правит ли ею бюрократия или теократия — лишены в этой связи какого бы то ни было значения.

Столь же лишено значения то, посредством каких ухищрений советское правительство увильивает от настоящего контроля и инспекций — процедурными ли клязумами, отклонением ли "нарушения национального суверенитета", "борьбой за мир" или призывами платонического осуждения атомного оружия, направленного, разумеется, только против той стороны, которая производит и испытывает свои бомбы гласно. Оук-Ридж, Хэруэлл и Бикини — общеизвестные географические названия, тогда как соответствующие места и испытания на Востоке держатся в глубокой тайне.

Я повторяю: ликвидация атомного оружия под эффек-

тивным международным контролем — вещь весьма и весьма желательная, но при существующем положении вещей столь же невозможная, каким было некогда всеобщее разоружение в покойной Лиге наций. Если исходить из этой реалистичной точки зрения, то перед Западом открыты три пути: либо развивать и впредь атомное оружие, вполне сознавая, какие опасности для человечества кроются в этом; либо отказаться от атомного оружия, вполне сознавая решающие преимущества, которые будут предоставлены этим противнику; либо же развязать "превентивную войну" (чистое противоречие "в себе"), исходя из предположения, что Запад все еще обладает решающим превосходством, что превосходство это, однако, убывает и что при нынешнем состоянии атомного исследования война была бы сейчас не менее разрушительной, чем лет через пять или десять, а то и — что она обеспечила бы миру, не разрываемому больше конфликтами, прочный мир.

Третий вариант необходимо сразу же отбросить, потому что он основывается на старом ложном выводе, что цель, дескать, оправдывает средства. Правда, всякий социальный прогресс, всякое отправление человеческого правосудия требуют известной меры милосердия, и каждое хирургическое вмешательство причиняет известную боль. Однако оправдывать средства целью можно лишь в весьма узких пределах, а именно — лишь в ситуации, когда все факторы поддаются обозрению, а результаты — более или менее вероятностному предсказанию; в противном случае скальпель хирурга превращается в топор мясника. В случае же превентивной войны все эти условия отсутствуют совершенно: размеры разрушений, которые были бы причинены человечеству, не поддаются подсчету, члены уравнения не поддаются определению, а результаты — предсказанию. Если даже исходить из заведомо недопустимого предположения, что ради достижения цели можно не считаться с этическими соображениями и что приходится, ничего не поделаешь, жертвовать нынешним поколением ради поколений будущих — даже тогда превентивную войну нужно

отбросить, так как обилие и сложность факторов слишком велики, чтобы человеческий мозг мог их обсчитать.

К несчастью, философия диалектического материализма, вероисповедание наших противников, не отвергает этих отбрасываемых нами исходных положений, не разделяет нашего скептического отношения к вычислительным способностям человеческого мозга. Нельзя поэтому исключить возможность того, что в известный момент, который покажется нашим противникам "исторически благоприятным", они под каким-либо предлогом все-таки развяжут "превентивную войну".

На этом мне хочется остановиться несколько дольше. В предыдущем абзаце меня занимал вопрос не о том, сочтут ли те или иные члены политбюро желательным развязать войну через шесть месяцев или лет, и не о том, убеждены ли они в неизбежном установлении мирового коммунистического государства без всякой войны. Тут главным является то, что их мировоззрение и система их нравственного отношения к проблеме войны иные, чем наши. Запад не обладает единым мировоззрением, но у него есть старая, преемственная традиция, которая — более или менее явно, более или менее осознанно — пронизывает мышление правителей и народов и ограничивает свободу действия первых. Для вождей же противной стороны таких ограничений не существует ни со стороны философии, которой они придерживаются, ни со стороны механизма демократического контроля над их действиями. Это неравная борьба, в которой одна сторона верит в свою историческую миссию, оправдывая решительно все средства, в том числе и войну, а вторая сторона — нет; в которой одна сторона связана известными правилами игры, а вторая — нет.

Это различие должно всегда быть на виду у всех ответственных политических деятелей, как правых, так и левых, и обуславливать их решения, малые и большие. С точки зрения психологической это, правда, нелегкая задача, так как тактические флуктуации советской политики, временные спады напряжения на поверхности и столь частые промахи американских политических деятелей замутняют

и затемняют эти основные мировоззренческие различия. Выдавать желаемое за действительное — это, конечно, куда как удобно, но в то же время дешевые фразы и соблазнительный путь наименьшего сопротивления постоянно уменьшают шансы Запада выжить.

.....

Марксизм учит, что революционный пролетариат должен использовать конституционные свободы, которые ему предоставляет буржуазная демократия и не предоставлять просто не может (ведь у буржуазии на роду написано стать "своим собственным могильщиком"), пока не возникнет "объективная революционная ситуация". Тогда пролетариат восстанет и похоронит противника в им же вырытой могиле. Та же теория применима, если несколько экстраполировать ее, и для международной сцены, где понятие "объективной революционной ситуации" заменяется "исторически благоприятной", то есть такой, когда можно присовокупить к уже поработанному вассальным государствам еще одно. Одностороннее атомное разоружение автоматически создало бы для честолюбивых стремлений России объединить мир "в высших интересах человечества", то есть по-своему, "исторически благоприятную ситуацию".

.....

Аргумент, что единственным устрашающим средством против атомного нападения является запас атомного оружия, новизной, конечно, не отличается. Однако накопление запаса атомного оружия в качестве гарантии против неатомной агрессии создает совершенно новую ситуацию. Теория, согласно которой атомное превосходство Запада в состоянии предотвратить локальные нападения посредством угрозы массивных ответных действий, устарела по двум причинам: во-первых, потому, что атомное превосходство Запада идет на убыль, а во-вторых, потому, что разрушительная сила нового оружия до такой степени чудовищна,

что развязать в ответ на ограниченную и замаскированную агрессию открытую атомную войну становится политически и морально невозможным. Полицейский, вооруженный одной лишь атомной бомбой, был бы не в состоянии предотвратить кражу со взломом иначе, как взорвав весь город, а заодно и самого себя. Мы очутились тут перед новым парадоксом: превосходство какого-нибудь вида оружия может обречь его обладателя на бессилие.

Роль полицейского осложнена еще тем, что политические преступления легче замаскировать, чем обыкновенные кражи. Россия ухитрилась захватить половину Европы и добрую часть Азии замаскированными так или иначе операциями, из которых ни одна не составляла четкого *casus belli*. Варианты замаскированной агрессии неисчерпаемы, и совершенно нереалистично думать, что мы сможем предотвратить их угрозой прибегнуть к "массивным ответным мерам". Это означало бы, что в ответ на падение Массарика из окна нам нужно было развязать атомную войну.

Мы приходим, таким образом, к выводу, что если положить на одно лишь индустриальное превосходство Запада и вообразить, что достаточно помахать перед глазами противника ответными действиями, которые, мол, последуют автоматически, то никогда не удастся гарантировать мир и коллективную безопасность. Короче: атомное оружие необходимо как устрашающее средство против атомных нападений, но неэффективно как устрашение против локальных и замаскированных ударов. Безопасность на улице не могут обеспечить танки, а только лишь полицейские в достаточном количестве и вооруженные обычным оружием, годным для предотвращения обычных преступлений. Практический вывод из всего этого до уныния прост. Самым обычным оружием, причем таким, от которого не может отказаться ни одно государство, является народ, полный решимости riskовать жизнью, чтобы отстоять свободу. Он, правда, даже при величайшем мужестве не сможет выстоять перед агрессором, прибегающим к методам ведения тотальной войны. Однако при достаточном наличии силы и мужества

он все-таки выстоит, так как противник вряд ли решится на то, чтобы развязать тотальную войну. Часто приводимое утверждение, что, дескать: "Какая польза создавать еще несколько дивизий, когда мы знаем, что, если дойдет до дела, Европе все равно защитить нельзя", — столь же трусливо, сколь и неверно. Европейский оборонительный союз, если бы он был создан, не мог бы стремиться к большему, как всего лишь к тому, чтобы не допустить покорения Европы, кроме как в результате атомной войны. Но и к меньшему он стремиться не вправе. Если бы сразу после войны Чехословакия или Польша располагали тем же количеством дивизий и той же решимостью, что финны в 1939 году, то русским ни разгон польского правительства, ни переворот в Праге не удалось бы. Они бы были вынуждены тогда раскрыть карты и решиться на открытую войну, но все указывает на то, что они вряд ли пошли бы на такой риск. Дело действительно до грусти просто: свободный народ должен быть готов отстоять свою свободу или же, в противном случае, лишиться ее.

.....

В начале этих рассуждений я провел черту между ближайшими и отдаленными аспектами современного кризиса. Все, что я говорил до сих пор, относится к ближайшему аспекту и к краткосрочным мерам. Максимум, на что можно рассчитывать в результате принятия этих мер, — это передышка. Если даже мы проявим гораздо больше мужества и ума, чем это имело место в прошлом, мы все равно не добьемся большего, чем стратегической и экономической системы заплат на планете, находящейся в состоянии разброда.

И все же, если даже только выиграть время и продлить это убогое сосуществование, можно все-таки надеяться выжить. Эта скупая надежда основывается главным образом на возможности неожиданной мутации господствующих страстей и интересов. Всякий раз, когда мировую историю поляризовали два соперничающих силовых центра, она шла

по одному из следующих двух путей: либо одна сторона брала верх (схема Карфаген-Рим), либо же достигалась "ничья" (схема христианство-ислам). Такая "ничья" возникает всегда из ненадежных, лабильных форм "существования", и ей всегда угрожают локальные стычки, которые вот-вот разрастутся в общий конфликт. Однако при известных, благоприятных исторических условиях "ничья" принимает прочный характер, с о с у щ е с т в о в а н и е превращается в с о т р у д н и ч е с т в о , и кризис, смотришь, миновал.

Условия, необходимые для такого рода развития, частью физического, частью психологического характера. Физической основой "ничьей" является выравнивание сил — как центральных, так и периферийных. Под "центральной" я разумею тотальную мощь, которую каждая из сторон в состоянии пустить в ход в случае тотальной войны и которая служит для взаимного устрашения. Под "периферийной" силой я разумею физическую и нравственную способность подверженных постоянной угрозе флангов и анклавов постоять за себя, пусть даже ограниченное время. Эта "периферийная" сила существенна для достижения равновесия сил, ибо она не оставляет сомнения у потенциального противника в том, что он не достигнет своей цели быстро и без шума; она умножает во много раз риск, с которым связана агрессия. Христианские анклавы в Яффе и Акроне в дни крестовых походов, протестантские анклавы в католических странах и, наоборот, католические в протестантских — после 30-летней войны доказывают, по-видимому, что "ничья" может принять самую причудливую лоскутную форму, если только упомянутые условия налицо. Варфоломеевская ночь оттого и вспоминается так живо, что она была исключением из правила, а не самим правилом. С другой стороны, судьба еврейского меньшинства в Европе и армянского анклава в Турции — нечто вроде перманентной варфоломеевской ночи, так как не было ни "центральной", ни "периферийной" силы, которые бы их защитили.

.....

Все же, "ничьей", которая держалась бы только на физическом равновесии сил, недостаточно, чтобы помешать решительной вспышке. Второе условие — перелом духовного климата, стихийное изменение интересов, которые притупили бы остроту дилеммы. Когда поляризация достигает вершины, то кажется, что весь мир должен стать либо мусульманским, либо христианским; католическим или протестантским; монархическим или республиканским; социалистическим или капиталистическим. Но если прекращение огня длится достаточно долго, то в сознании масс может наступить неожиданная перемена: неизбежное решение в ту или иную сторону не кажется уже таким неизбежным, страсти улетучиваются, люди просто начинают интересоваться другими делами. Религиозное сознание уступает место национальному, борьба за жизненное пространство — борьбе за рынки сбыта, спор между "левыми" и "правыми" — конфликту между Востоком и Западом. Слово "еретик" употребляется сегодня лишь в переносном смысле, хотя некогда оно было равнозначно пытке и костру, а то обстоятельство, правит ли нами сегодня король или президент, оставляет нас совершенно равнодушными. В истории то и дело получается так, что динамо, обеспечивающее напряжение и искру, выходит из строя непосредственно перед тем, как перегорают предохранители. Но чтобы так получалось, нужно, чтобы заработало новое динамо, вырабатывающее ток совершенно иного рода; нужно, чтобы интерес переключился на другую категорию ценностей, напряжений и дилемм.

Каждая область человеческой деятельности — литература, изобразительные искусства, философия и даже медицина — подвергается, по-видимому, этим непредвидимым периодическим мутациям. Достаточно вспомнить живопись с ее внезапными перемещениями удара с изображения на композицию, с контура на плоскость, со статики на динамичность, с натурализма на геометрию. Не мода тут меняется, а угол зрения, обращаемый каждый раз на новые стороны того сложного единства, которое представляет

собой человек — от человека "религиозного" до человека "экономического", **ДО homo politicus, homo faber, homo liber.**

Один из таких переломов духовного климата, имеющий для нас особое значение, произошёл, по-видимому, в середине 30-летней войны. Я цитирую из классического труда Уэджвуда "Тридцатилетняя война":

"Никогда церкви не казались могущественнее, чем в первые десятилетия 17-го века. Однако достаточно было одного поколения, чтобы они потеряли свою ведущую политическую позицию. Трагические результаты клерикальной политики в ведении светских дел подорвали доверие к способности церковью управлять государствами. Религиозный импульс неминуемо должен был уступить место другому. Возникло национальное сознание, которое и заполнило образовавшуюся брешь. Лозунги "протестант" и "католик" потеряли постепенно свою страстность, и понятия: Немец, Швед, Француз — приобретали все более и более угрожающее значение. В мире появился новый масштаб права и бесправия. Крест был незаметно вытеснен знаменем, а клич "Санта-Мария" при битве у Белой горы уступил место кличу "Вива Эспанья" — в Нердлингене".

Спору нет, всего этого хватились тогда, когда война уже прошла половину своего пути и успела собрать свою долю гибели и разрушения; должно было пройти еще целых тринадцать лет, чтобы войне пришел конец. Но, может быть, советские завоевания в Восточной Европе, а также войны в Греции, Китае, Корее, Индокитае как раз и составляют, так сказать, первую половину 30-летней войны; может, нам вовсе не придется проделать еще и вторую половину: ведь можно же утверждать все-таки, что спор между Бурбонами и Габсбургами, пожалуй, не имел уже ничего общего с первоначальным религиозным конфликтом.

.....

После религиозных войн 17 века в мире возникло два на первый взгляд независимых друг от друга фактора: развитие национального сознания и распространение новой

философии. Эта философия, основывающаяся на открытиях Коперника, Галилея и Кеплера проникала мало-помалу во все более и более широкие слои общественного мнения. Если земля больше не покоится твердо в предназначенном ей Господом Богом центре Его вселенной, а является лишь маленькой планетой, кружащей по мировому пространству, то религиозная вера, хоть и продолжает существовать, но не может больше поглощать одна все интересы человека. Небо над ним осталось тем же, но его горизонт существенно изменился, с тех пор как он узнал, что неподвижные звезды небосвода не пляшут ради его удовольствия, а с равнодушной иронией взирают, подмигивая, вниз на ничтожное его существо. За одно столетие дух европейского человека проделал мутацию, более радикальную и чреватую последствиями, чем если бы он получил третий глаз или пятую конечность.

Это была поворотная точка — точка, от которой религия и наука, религия и искусство, логика и этика начали расходиться в разные стороны, чтобы с этих пор следовать разными путями. С самого начала культуры судьбу человека определяли и его совестью управляли надчеловеческие инстанции разного рода; теперь эту задачу переняли подчеловеческие факторы. Божества прошлого — грубые ли они были или возвышенные, скабрёзные ли олимпийцы или чистый Бог любви — все же были мудрее и могущественнее, всегда стояли на более высокой ступени, чем сам человек. Новые правители человеческих судеб — законы механики, атомы, железы, гены, — постепенно перенявшие власть, были рангом пониже самого человека. Они, правда, могли определить его существование, но его совестью они управлять не могли. Рок, который правил до этого свыше, действовал теперь снизу.

Последствия этого перемещения обнаруживались лишь постепенно. До сих пор те или иные религии давали человеку ответы на все вопросы, и эти ответы придавали всему, что с ним происходило, значение в смысле трансцендентальной связи и неземной справедливости. Объяснения же новой философии лишены этого значения в широком смысле.

Пусть ответы прошлого были непоследовательны, противоречивы, примитивны, суеверны и какие угодно еще, но они были тверды, окончательны и властны. Они удовлетворяли — по крайней мере в пределах известного времени и известной культуры — потребности человека в ободрении и защите в этом бесконечно жестоком мире; в руководстве, когда он бился со своими трудностями. Новые ответы, как писал Уильям Джеймс, "сделали невозможным видеть в вихре космических атомов что-либо иное, чем бесцельную грозу, которая налетает и проходит без всякого исторического смысла и не оставляя никаких следов". Одним словом, старые объяснения, при всей их ненаучности и неполноте, все-таки отвечали на вопросы о "смысле жизни", тогда как новые объяснения, при всей строгости формулировки вопроса о смысле жизни, отрицают сам этот смысл.

Посткоперниковское развитие до такой степени изменило наши мыслительные привычки, что мы автоматически полагаем, будто люди всегда мыслили этим же методом. Мы до такой степени принимаем как нечто само собой разумеющееся этическую индифферентность наших "законов природы" и пропасть между "религиозной" и "естественнонаучной" истиной, что под конец мы действительно верим, будто они всегда существовали. Необходима немалая доля воображения, чтобы осознать значение этого "перемещения рока", происшедшего триста лет назад, и понять, что оно было чем-то принципиально новым, крутым переломом на кривой духовного развития человечества, переломом столь же беспримерным и единственным в своем роде, как внезапный, головокружительный взлет его физического могущества. Мы не знаем, сколько десятков тысяч лет прошло с тех пор, как человек впервые задался вопросом о смысле жизни, но мы знаем, когда именно — пугающе недавно — он потерял ответ на этот вопрос.

.....

Подавляющая часть человечества долго не создавала последствий этой новой философии. Ее создатели говорили

о ней робко и осторожно, не сознавая ясно ни того, что они говорят человеческому духу, ни того, что они ему причиняют; они частенько даже сами боялись взглянуть своим учениям прямо в глаза. Были, конечно, исключения, были люди, достаточно дальновидные, чтобы понять, что вот-вот наступит закат богов, и достаточно неумные, чтобы вопить об этом на каждом перекрестке; как тот *enfant terrible* Джордано Бруно, Бертран Рассел своего века, которого и сожгли заживо. Все же это были исключения. Когда Коперник запустил земной шар, он это сделал пугливо и как бы извиняясь; Кеплер спас свою веру заявлением, что Бог — математик по профессии; путь Галилея был сплошным хождением по канату в продолжение всей его жизни; Ньютон написал трактат о топографии рая и ада; в конце же этого длинного ряда стоит Арнольд Дж. Тойнби со своим утверждением, что католическая церковь, как обладательница окончательной истины, стоит, так сказать, над историческими законами.

Таким образом, новая философия, за исключением немногочисленных ее поборников поглубже, не пошла в фронтальную атаку на религиозные убеждения, но она постепенно подтачивала их основы, на которых зиждились все прошлые культуры. В старые времена человек надеялся повлиять на высшие силы, определяющие его судьбу, посредством магии и молитвы; теперь он сам мог маневрировать механическими компонентами своей судьбы — железными и соками, атомами и генами — и таким образом лично влиять на условия своего существования. Молиться продолжали и теперь, но первоначальная функция молитвы, состоявшая в том, чтобы оказать влияние на судьбу, перешла к лабораториям. Медленно, но неумолимо божественное провидение уступало место космическим погодным течениям, теология морали — этическому индифферентизму естественных наук, смирение перед сверхъестественным — чувству надменного, неограниченного могущества.

Религия не умерла, новая философия не произнесла над ней смертного приговора — ее лишь загнали в герметически закупоренную камеру человеческого духа и изолиро-

вали от какого бы то ни было соприкосновения с логическим мышлением. Несовместимость обеих половинок расколотого, духа замазали тем, что церкви сделали естественным наукам некоторые дипломатические уступки, а верующие отказывались в глубине души признать образовавшуюся пропасть. Несмотря, однако, на эти психологические буфера, религия потеряла мало-помалу свою власть над людьми. Она стала хрупкой и уязвимой, и то, что было когда-то упорядочивающим принципом повседневной жизни, превратилось в воскресное излишество. "Океаническое чувство" не могло больше заполнить человеческий горизонт, оно хранилось в какой-то искусственной цистерне, уровень которой из-за течи и испарения постоянно понижался.

Но жизнь в эти лихорадочные века была настолько захватывающей, что поначалу люди вовсе не отдавали себе отчета в том, что с ними происходило. Пуповина, через которую они получали свою духовную пищу, мало-помалу ссыхалась, но ведь можно же было питаться всевозможными эрзацами. Одно время слова "Свобода, Равенство и Братство" излучали такое очарование, что казалось — они вполне могут заменить святое триединство. Предпринимались лихорадочные попытки создать гуманистическую религию и культ богини разума; политические религиозные течения и светские религии сменяли друг друга, увлекая людей своей мощной — правда, кратковременной — притягательной силой. Головокружительный взлет кривой могущества сопровождался массовыми восстаниями, идеологическими крестовыми походами и фанатической охотой за утопией. Все они сулили произвести на свет — после революционного апокалипсиса — тысячелетнее царство, бесклассовое общество, мессианский век. Но на протяжении всего этого времени, сквозь все эти лихорадочные эксцессы и бенгальские огни, в душе все-таки оставалось смутное чувство неудовлетворенности, растущего разочарования и духовного голода. Ответы науки на извечные вопросы человека становились все более формальными, отчужденными и лишеными значимости. В той же мере, в какой наука челове-

ка становилась все более абстрактной, его искусство становилось все более эзотерическим, а его наслаждения — синтетическими. Под конец ему ничего не осталось, кроме "абстрактного неба над голой скалой".

.....

С началом 20-го века появились признаки предстоящего поворота времен. Потомки Галилея и Ньютона заметили, что их гипотеза, будто можно свести вселенную к механической модели, была чересчур оптимистической. Усовершенствованные измерительные приборы докладывали о величинах и процессах, которые не только не поддаются никакому измерению, но и по самой своей природе неизмеримы. Примерно в то же время разразились подобные же кризисы и в остальных науках: в космологии и биологии, генетике и психологии. Физический детерминизм дал трещину, жесткая причинность уступила место гибким законам вероятности; естественной науке пришлось признать, что она никогда не в состоянии точно предсказать, а лишь приблизительно предугадать последствия того или иного процесса. Живое целое снова предъявило претензии на примат над частичными аспектами, поддающимися измерению; медицина все более и более настойчиво подчеркивала влияние духа на материю. Самое модное психотерапевтическое течение вернулось к мнению Уильяма Джеймса, что трансцендентальная вера — биологическая необходимость для человека и что абсолютное отсутствие веры ведет к духовному ниспровержению — в темную, горячую ночь души.

Медленно и нерешительно маятник, казалось, повернется вспять. Похоже было, что человечество созревало для нового угла зрения, для новой мутации. Но до сих пор ничего еще не сбылось, и все попытки духовного возрождения в рамках существующих церквей оказались искусственными и мертворожденными. Может быть, история действительно движется по спирали, но никогда не по кругу... Физик, которому пришлось присутствовать при крушении

своей механической модели, стал теперь скромнее и мудрее, но все же нельзя ожидать от него, что он вернется к четырем элементам Аристотеля и к небесным кристаллическим шарам Птолемея. Точно так же и врач, которому пришлось смириться и признать границы лечебного искусства, не вернется к рецептам Парацельса. Церкви же требуют от всех нас, зябнувших во тьме, именно такого рода интеллектуального самоубийства. Потому что разве ж это не безумие — требовать от человека 20-го века, чтобы он уверовал в Бога любви и милосердия, но который обрекает половину своих детей на вечные муки. Успокоительные заверения ряда современных теологов, что ад хоть и существует, но там никого и ничего нет, что в нем отнюдь не жарко, а обозначает понятие "ад" всего лишь непричастность к благодати, — разве все это не столь же инфантильно? Защита Грэхемом Грином телесного вознесения девы Марии на страницах журнала "Лайф" заставила бы покраснеть даже святого. Стихи Джона Дона

**"В великой трезвой жажде  
Душа моя неотступно следит"**

были исповедью вечной веры на языке его эпохи; но "Коктейль-парти" Т. С. Элиота и "Гостиная" Грэхема Грина — пародия на веру.

Возможно, что родился Лютер после Коперника и Ньютона, пропасть между верой и разумом была бы не такая ужасная. А так государственные церкви являются сегодня всего лишь досточтимыми анахронизмами. Они могут дать ограниченному числу людей ограниченную уверенность и ограниченные же спорадические импульсы, но подобно тому как воскресный автомобилист не решает вопросов уличного движения, точно так же и воскресная вера не может устранить опасность, угрожающую нашему биологическому виду. Мы можем отодвинуть Содом и Гоморру атомного века еще на несколько лет, но отнюдь не до бесконечности. Это под силу только радикальному изменению нашего духовного климата.

К несчастью, изменения такого рода, в том числе и предстоящая мутация, предстоящий прыжок человечества вперед, не только не поддаются предсказанию, но их даже и представить себе нельзя. Причины, приведшие к таким чрезвычайным изменениям нашего духовного состояния, настроения нашего мира — всепоглощающая волна Христа, землетрясение Возрождения, ураган научного века, — тоже лежат в темноте, даже если оглядываться назад. Диалектика Гегеля, культурные циклы Шпенглера, "Вызов и отзыв" Тойнби — прекрасные пророчества, обращенные вспять, и столь же сомнительные, как всякое пророчество, даром что они предсказывают одно лишь прошлое. Чем больше мы убеждаемся в многослойности исторических причин, чем больше мы сознаем, что каждая философия истории — не более, чем Нострадамус наизнанку, тем меньше у нас возможности и охоты предсказать следующую мутацию. Мы можем строить аналогии, находить известные узоры на запутанной канве истории, выделить отдельные нити и составить кривые; во всем же остальном остается только гадать, надеяться и молиться.

.....

Лично мои надежды обращены, как я уже намекнул, на внезапное появление новой веры, которая утолит "великую трезвую жажду" человека, не требуя от него, чтобы он расколол свой мозг на две половинки; восстановит пуповину, через которую он получает соки космического своего сознания, без того чтобы обрекать его на инфантильность, которая укажет разуму его скромное место, но не будет противоречить ему. Все это звучит очень туманно и, пожалуй, дерзко; отчасти потому, что хоть мы и можем себе представить технические изобретения будущего, но никак не мировоззрение того же будущего, отчасти же потому, что мы настолько свыклись с мыслью, что всякая религия зиждется на расщеплении духа, что одна уже мысль о вере, заполняющей наш дух целиком, представляется чуть ли не святотатственной.

Но разве это в самом деле так уж много — ожидать и надеяться на религию, содержание которой вечно, однако не архаично, которая руководила бы нами нравственно, заново научила бы нас утерянному искусству созерцания и снова соединила бы нас со сверхъестественным, не требуя от нас отказа от разума?

Верующий, пожалуй, усмотрит в этом вопросе дерзость, непонимание явного или символического или мистического содержания веры, смотря по тому, как он себе это содержание представляет. "Не можешь же ты, — скажет он, полон возмущения, презрения или сожаления, — потребовать религию по мерке, которая соответствовала бы твоему личному вкусу!" На это можно со всем смирением ответить, что возмущение наших католических, протестантских, иудейских и мусульманских друзей, так сказать, взаимно друг друга снимает; а во-вторых, что аргумент этот исторически несостоятелен, ибо каждая культура и каждая эпоха обладали верой "по мерке", выражая вечное содержание религии на своем специфическом языке и своими специфическими символами. Надеяться на то, что это повторится и в будущем, — в этом нет ничего ни еретического, ни невозможного. А вот вернуться к языку и символике минувшей эпохи, в духовный климат, который больше не является нашим, — это действительно невозможно.

.....

Я исходил из воображаемой диаграммы, которая показывала бы головокружительный взлет кривой могущества человека, совпадая с таким же беспримерным падением нравственности и веры. Именно из-за совпадения во времени этих двух кривых переживаемый нами кризис представляется нам таким глубоким и вселяет в нас чувство, будто мы мчимся с головокружительной скоростью в ночи, нажав на газ до отказа и при неисправном руле.

Более драматические события долго затушевывали и скрывали духовный упадок: его последствия обнаружи-

лись только в наши дни. Когда, полтора столетия назад, матросы английского флота взбунтовались в Спитхэде, они в первую очередь позаботились заверить короля в своей лояльности и подчеркнуть, что они протестуют только против определенных приказов адмиралтейства. Высшая власть была для них чем-то само собой разумеющимся, несмотря на бунт; они серьезно считали себя лояльными "повстанцами Его величества". Примерно таким же образом основатели новых религий и реформаторы уже существующих отнюдь не замахились на существование самого Бога: они были, так сказать, лояльными еретиками Господа Бога. Похоже, что это верно для всех периодов человеческой культуры — от самых первобытных времен и до начала 18-го века. Но вот в этой точке произошел никогда раньше не бывавший перелом: самого Бога сместили с престола. И хотя инертная масса этого долго не замечала, она все же зябла на ледяном сквозняке, возникшем вдруг из-за образовавшейся пустоты. Человечество вступило в духовный ледниковый период. Существующие религии могут предложить ему разве лишь убогие шалаши, где сбивается в кучу мерзнувшее стадо верующих, пока соблазнительные костры соперничающих между собой идеологий заставляют массы носиться в панике по льду. Но даже и это печальное положение следует предпочесть посулам шаманов улучшить климат путем превращения ледяной пустыни в море огня.

К сожалению, это вполне в их власти. Предстоящие десятилетия решат — сойдет ли *homo sapiens* со сцены по следам динозавров или же еще одна спасительная мутация перенесет его в более прочное будущее.

Мы либо покончим с собой, либо же вознесемся к звездам. Может быть, покорение межпланетного пространства породит новую, подобную коперниковской, революцию, новое космическое сознание. Может быть, создание искусственных лун и прочих игрушек этого рода до такой степени увлечет и отвлечет людей, что старые страсти потеряют свое содержание и причины их забудутся. Может быть, какое-нибудь новое открытие в области телепатии явится источником какой-то новой спиритуальной мудрости,

создаст новый фундамент для трансцендентальной веры, вселяя в нас новое чувство ответственности.

Все это, конечно, смутные и дикие спекуляции, но они куда менее смутные и куда менее дикие, чем то, что постигнет человека, если спасительная мутация не произойдет, а вместо этого нависшие над ним безобразные гигантские грибы закроют небо и отравят его легкие... Беда со всеми этими лучезарными чудесами или почти чудесами — когда наши предки встали на задние лапы, когда звезда засияла над Вифлеемом, когда Галилей поднялся на Пизанскую башню, — в том, что их появления никак нельзя было предсказать. Когда-то мы надеялись на Утопию. Ныне, когда наше настроение куда менее восторженно, мы можем рассчитывать в лучшем случае на помилование. Наша цель стала проще и скромнее: выиграть время, как-нибудь продлить это неустойчивое состояние, чтобы избежать крушения в надежде, что все-таки возможен новый подъем. Ибо, если бы в свое время динозавр умел молиться, наиболее разумная его молитва состояла бы в том, чтобы упасть на чешуйчатые свои колени и взмолиться: "Прости, Господи! Дай мне еще один шанс!"

("Der Monat", X. 55)

Подготовил публикацию и перевел с немецкого М. Ор.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Уильям Джеймс (1842 - 1910). Американский философ. С 1876 года профессор психологии в Гарварде. Один из основоположников философского прагматизма. Делал упор на целостность духовной жизни.

2. Кречмер Эрнст (1888 — 1964) . Немецкий психиатр и невролог. Профессор в Марбурге и Тюбингене. Известен трудами в области физиономики, строения тела и характера.

3. Белая Гора — гора западней Праги, на которой в 1620 году во время 30-летней войны (1618 — 1648) произошло сражение между протестантской Унией и католической Лигой, в результате которого Чехия утратила самостоятельность.

4. Нёрдлинген — битва в 1634 году, во время 30-летней войны, в результате которой шведы потеряли Южную Германию.

## О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

### ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Общественно-политический и литературный альманах

№ 1

Главный редактор Рой А. Медведев  
Альманах публикует избранные материалы из самиздатного журнала «XX-й Век». Альманах будет публиковаться 2-3 раза в год.

В журнале публикуются очерки, политические и полемические статьи, литературные произведения и литературная критика советских авторов-диссидентов. Статьи публикуются с согласия авторов.

#### СОДЕРЖАНИЕ АЛЬМАНАХА № 1:

*Рой А. Медведев.* Вопросы, которое волнуют каждого;

*Р. Лерт....* И на которые нет однозначных ответов;

*С. Елагин.* Раскаяние: теория, история и рецепт дня. (О сборнике «Из под глыб»);

*Борис Ямпольский.* Из воспоминаний. Последняя встреча с Василием Гроссманом. Да здравствует жизнь без меня (очерк о Юрии Олеша);

*Д. Витковский.* Полжизни. (Документальная повесть).

АНГЛИЯ 1976 T.C.D. PUBLICATIONS

Цена выпуска: £ 3.00, DM 16., — \$ 7., — Fr. 30. —  
(Пересылка за счет заказчика: 25p., DM 1., 50 c., Fr. 2.50).  
Заказы направлять: ORBIS BOOKS LTD,  
66, Kenway Rd. London S.W.5. England

\* \* \*

В следующих выпусках будут опубликованы очерки и статьи: Р. А. Медведев «Новые материалы к политической биографии Сталина»; Льва Копелева «Ложь победима только правдой»; А. Красикова «Товар номер один» (о производстве и торговле водкой в СССР), М. Максудова «Потери населения СССР в 1918-1958 гг. Демографический анализ», а также отрывки из литературных произведений, литературная критика и полемика.



Рабби Адин ШТЕЙНЗАЛЬЦ

## РЕЛИГИЯ И МИСТИЦИЗМ

У нашего поколения заметна склонность подходить к религии через психологию, рассматривать религию как функцию человеческой души, принципиально независимую от конкретного реального мира. В этом современном подходе можно отличить две тенденции. Первая состоит в том, чтобы видеть в религии всего лишь грезу, лишённую объективного содержания, и относиться к ней соответственно — как интеллектуально, так и эмоционально. Лица, придерживающиеся этого подхода, с интересом приглядываются к религии, они могут ею восхищаться (и даже принять её!) совершенно так же, как разглядывали и восхищались бы произведением искусства. Именно так им хотелось бы понять и чувствовать религию. Использование религии в вспомогательных целях и нередко проявляемое к ней терпимое отношение вытекают именно из этого подхода, рассматривающего религию как бледный плод воображения, а верующих — как мечтателей, находящихся во власти причудливых романтических фантазий.

С другой стороны, есть и такие, кто ищет в религии извест-

ную реальность и кто благодаря этим поискам испытывает разного рода сверхъестественные переживания: переживания спиритуальные, воспринимаемые как вполне реальные и даже сопровождаемые осязаемыми сверхъестественными явлениями, которых наука не может (либо не хочет) объяснить, короче — явления, известные под собирательным названием "метапсихология", ставшая чем-то вроде современной психологической замены метафизики. Мистическое переживание и его странные короллярии сверхчувственного вызывают острый интерес в широких кругах интеллигенции, надеющейся найти в таких душевных явлениях какую-то новую и прочную опору. Эти люди ищут что-нибудь такое, что вышло бы за известные (и ненавидимые) пределы интеллекта, что-нибудь такое, что дало бы человеку возможность соприкоснуться с Богом: одним словом, они ищут непосредственное религиозное переживание.

И вот, это проникновение в подсознательное (или, если угодно, в сверхсознательное, или как бы мы это ни назвали еще) позволяет ему верить, что он вошел в соприкосновение с недостижимым, с Непостижимым, с Богом. И тогда религиозная реальность представляется ясной и четкой, почти достаточно осязательной для научного и экспериментального подтверждения. Так и хочется сказать, что во всем этом речь идет о поисках реального Бога, настоящего, такого, который бы счастливейшим образом согласовался со строгим научным опытом.

Однако призадумаемся немножко над этим. Допустим, что такое мимолетное переживание — мистическое ли или ощущение погружения в глубины собственного чувства — действительно позволяет достичь небывалых вершин, открывает доступ в невиданные сферы, возносит человека над самим собой к... собственно, к чему? Действительно, ведет ли это всепоглощающее чувство, представляющееся испытавшим его бесконечным, ведет ли оно куда-нибудь? Точнее: ведет ли оно к Богу?

Иными словами, каково соотношение между религией (понятой как выражение единения с Богом) и различными мистическими переживаниями? Идентичны ли они, дополня-

ют ли друг друга или они принадлежат к совершенно различным уровням бытия? Точнее: как относится мистицизм к религии и каково место мистицизма в традициях иудаизма?

Иудаизм не видит ничего необыкновенного или неприемлемого в сверхчувственных явлениях. Иудаизм признает тот факт, что существуют лица, обладающие способностью выйти за обычные, установленные природой человеческие пределы и достичь более высоких уровней восприятия. Иудаизм признаёт далее различные формы этой способности, такие, как пророческий дар, магическую или мистическую силу. Как бы они ни отличались друг от друга по содержанию и выражению, во всех случаях речь идет о способности выйти за временные и пространственные пределы природы. Так, например, пророчество — это умение видеть вещи в будущем или на расстоянии (нечто весьма сходное мы находим в модных нынче рассказах на такие темы) или же способность совершить известные действия, противоречащие законам природы. Несмотря на их внешнее сходство, иудаизм относится к каждому из этих видов весьма неодинаково. В пророчестве иудаизм видит не просто положительное явление: оно — фундаментальный источник религиозного знания, а сам пророк стоит на высшей ступени бытия. Магия зато запрещена под страхом смерти. Однако нас интересует здесь отношение иудаизма вообще к сверхчеловеческим способностям, из которых вытекают мистические переживания и сверхъестественные явления, не принадлежащие ни к пророчеству, ни к магии.

В Талмуде имеется рассказ, который может бросить свет на эту проблему. Однажды рабби Ханина Бен-Доса отправился учиться Торе у рабби Иоханана Бен-Заккай. Когда сын этого последнего как-то заболел, он попросил рабби Ханину Бен-Доса помолиться за жизнь сына. Рабби Ханина опустил голову на колени, помолился — и сын его учителя выжил. Тогда Бен-Заккай сказал: "Если бы Бен-Заккай бился головой о колени и молился хоть до самого вечера, на него все равно бы не обратили внимания". Его жена удивилась: "Что же, Ханина, стало быть, выше тебя?" "Нет, — пояснил он, — он вроде раба, у которого свободный доступ к королю;

я же — что князь перед королем" (Берахот, 34б). Из этого мы видим, что когда сталкиваются эти два типа: рабби Иоханан Бен-Заккай, великий мудрец и вообще выдающаяся личность, и рабби Ханина Бен-Доса, обладающий сверхъестественными целебными и прочими способностями, — то первому отнюдь не под силу совершить то, что запросто совершил второй. Но это вовсе не означает, что рабби Ханина Бен-Доса превосходит рабби Иоханана Бен-Заккай; он просто одарен известным талантом (или известной способностью войти в контакт с Богом), что и позволяет ему совершать такие чудеса. Это, однако, не делает его "князем пред лицом Бога": он так и остается "рабом пред лицом короля" (и это, может быть, как раз и характеризует его сверхъестественные способности). Иными словами, здесь содержится оценка самого существа мистической способности выйти за пределы естества, силы бесспорно чудесной, но не обязательно возносящей ее обладателя над обыкновенными смертными.

Итак, мы видим, что отношение к мистическим способностям — если мы остановимся на этом названии — неоднородно. Оно почтительно, но почтительность эта — до такой степени сдержанна, что граничит с укором. Совершенно иное отношение к пророческому дару и к пророкам. Действительно, мы наблюдаем фундаментальную разницу между глубоким уважением, оказываемым пророку (вопреки талмудической поговорке: "Мудрый выше пророка"), и сдержанной почтительностью, оказываемой лицам, обладающим мистическими способностями. Важно поэтому отметить главные черты, отличающие эти два внешне столь сходные феномена.

На первый взгляд, то есть если иметь в виду видимые внешние эффекты, мало что отличает пророка от мага или обладателя сверхъестественных сил. Действия, которые совершают тот и другой, более или менее сходны между собой и одинаково выходят за пределы естественного. Различие проявляется лишь тогда, когда мы добираемся до источника: откуда у них берется эта чудотворная сила? Именно в этом заключается первое важное отличие. Пророческим

даром человек наделяется извне, из более высокого источника. Эта сверхъестественная способность не обязательно свойственна ему лично (хотя это отнюдь не исключается); пророк существенно зависит от чего-то внешнего, объективного (в этом смысле пророческий дар не зависит от воли самого пророка), и вот здесь-то и источник его силы. С другой же стороны, обладатель сверхъестественных, но не пророческих, способностей, сам является источником свойственной ему силы; она субъективна и подчинена его личной воле. С этой точки зрения способность эту можно сравнить с любым другим свойственным человеку талантом — художественным или музыкальным. Способность выйти за пределы природы является прерогативой лиц, наделенных специальной к этому способностью; однако эту способность можно встретить почти в любой человеческой категории, совершенно независимо от одновременного наличия иных свойств и черт.

Иными словами, пророчество является выражением сверхъестественного влияния, имеет своим источником нечто более высокое, более всеобъемлющее, чем мир, тогда как другие виды сверхъестественных явлений — всего лишь выражение способностей, пусть и необычных, но свойственных обыкновенным смертным.

В литературе хасидизма принято считать, что каждый человек обладает известной способностью проникнуть в мир, возвышающийся над миром конкретным, и что путь к сверхъестественному открыт для каждого — правда, в различной степени. Встречаются, однако, личности, выходящие из ряда вон, и могут возникнуть особые апокалипсические ситуации, когда это соприкосновение становится особенно тесным. Сама способность к сверхъестественному является частью целой системы мадрегот (ступеней, степеней). Этот термин охватывает всю совокупность форм сверхъестественного откровения: видение, ясновидение, телепатию, целительные действия и различные ступени освобождения от физических факторов. Отношение хасидизма ко всем этим мадрегот (которые служат также основой для совершения чудес) — совершенно такое же, как в Талмуде: почти-

тельное, но с примесью известной подозрительности и пренебрежения. Таким образом, хотя мадрегот считаются важными средствами, но в них отнюдь не видят самоцель. Человек может быть чудотворцем и все же не быть выдающейся личностью: мадрегга и личность не всегда соответствуют друг другу. В хасидистской литературе много места уделяется ситуациям, в которых лицо наделено "степенями" вне всякой пропорции к его духовному уровню или где наличие мадрегот может даже погубить душу человека, наделенного ими. Важно поэтому провести здесь четкое различие. Мадрегот, как и любые другие человеческие способности, очень важны, и, подобно же другим духовным талантам, они могут принести человеку великую пользу. Но так как они все-таки не абсолютно божественные, а человеческие, они могут служить также и диаметрально противоположным целям. Не менее важным, чем сама мадрегга, является поэтому умение пользоваться ею правильно.

Об этом имеется множество рассказов, как, например, рассказ о рабби, который еще в детстве обнаруживал способность "видения" на расстоянии. Когда ему исполнилось шесть, его дядя, который был цадиком, сказал ему: "Я благословлю тебя, чтобы ты лишился этого святого духа, так как он может помешать тебе учиться и стать хорошим евреем; когда же тебе исполнится тридцать и ты захочешь, чтобы эта мадрегга к тебе вернулась, я с благодарностью верну ее тебе" (Мегилат Сетарим, а также введение в Сефер Зогар Хай). Это характерный случай двойственного — почтительного, но одновременно опасливого — отношения к сверхъестественному, потому что коль скоро оно не абсолютно божественное, оно — в неумелых руках — может причинить вред внутренней духовной сущности человека. Имеется много рассказов о "людях, которые были наделены "степенями" лишь для того, чтобы сбить их с толку". Таков, например, рассказ об одном учащемся, который, возвращаясь от учителя, почувствовал, что в него вселились чудотворные высшие силы. (В этом, взятом само по себе, ничего необычного не было, так как значительная часть усилий некоторых экзальтированных хасидов как раз в

том и состояла, чтобы путем усиленного изучения и упражнений развить в себе именно те стороны своей личности, которые в состоянии выйти за обычные пределы человеческого естества.) Внезапное появление этих способностей все же потрясло его до глубины души, так как он почувствовал, что они не поддаются его контролю. Поэтому он встал в лесу под дерево и помолился Богу, чтобы Он отнял у него эти способности.

Таким образом, проводя черту между пророчеством и сверхъестественными силами и заявив, что первое — божественного происхождения, а вторые — человеческого, мы можем теперь разглядеть также внутренний смысл этого различия; это в свою очередь позволит нам понять лучше подозрительность, с которой, как мы видели, обычно относятся к мадрегот. Если мадрегот являются человеческими способностями и талантами, то, как это происходит со всеми человеческими способностями и склонностями, они амбивалентны — то есть хорошие либо дурные. Это в особенности верно в свете мировоззрения хасидизма, которое почти полностью отвергает разделение свойств на хорошие и дурные и считает, что чувства, желания и стремления могут стать хорошими либо дурными, смотря по тому, к какой цели — хорошей или дурной — они направлены. Поэтому же, чем больше сила или талант, тем опаснее они, тем выше в них потенциал для совершения как конструктивных, так и деструктивных действий. Такая оценка человеческих свойств и психических сил означает, что они лишены имманентного значения добра и зла (или чего угодно другого) и что определения: добрый или жестокий, умный или гордый — не обладают раз и навсегда установленным достоинством, а зависят в каждом случае от контекста. Так, например, добродушие может быть в определенных условиях нежелательным, ум — грехом, а гордость — чистым и желательным импульсом. Ничто человеческое не может обладать лишь каким-нибудь одним-единственным значением, если оно вообще имеет какое бы то ни было значение. Человеческое может только получить значение,

имеет же оно его только в потенции; само по себе оно прозрачно и лишено содержания.

В противоположность отсутствию имманентного содержания во всех человеческих способностях, божественное откровение характеризуется и отличается тем, что оно обладает тем или иным значением. Значение это может быть скрытым или явным, приятным или ненавистным — смотря по обстоятельствам, но на нем всегда лежит печать истинности и внутренней необходимости. Пророк же — в первую очередь и по самой своей природе посланник Бога, которому поручено что-то сказать, которого речь, таким образом, продиктована необходимостью и проникнута содержанием, по самой своей сущности божественным. Пророк не может не говорить, тогда как тот, кто находится во власти Руха Кodesh (святого духа) в том смысле, что он обладает сверхъестественными силами, вовсе не обязан что-либо сказать. Пророчество — выражение божественной идеи и божественной воли; ясновидение же, которое не является также и пророчеством, — всего лишь проявление скрытой человеческой силы, позади которой нет ни идеи, ни воли.

Каково же все-таки отношение между этими мистическими способностями и религией? Ответ ясен и недвусмыслен: мистицизм такого рода принципиально не связан с религией, так как религия обладает божественным содержанием, основанным в значительной степени на пророческом откровении, тогда как мистические силы — человеческого происхождения и как таковые лишены собственного содержания. Мистические откровения снимают покров с многих вещей, скрытых от обыкновенного человека, но они могут снимать покров только с того, что и без того существует. Они выявляют, делают осязаемым, но не в состоянии творить новое содержание. Будучи сами лишены содержания, они не в силах влить содержание и придать значение чему бы то ни было для них постороннему. Они, правда, могут раскрывать очень много, но, как и всякая другая человеческая способность, которая не обращена к божественному, они положительно не в состоянии достигнуть божественного.

Мы вовсе не хотим сказать этим, что эти силы бесполезны

или что мистические явления лишены значения. Они лишены значения только взятые сами по себе, то есть в контексте со своей собственной пустотой. Но если их верно направить, они могут руководить душой лучше, чем уже состоявшие спиритуальные откровения.\* Итак, здесь, как и везде, именно применение и направление какой-либо способности — либо вниз, к пустым видениям, либо вверх, к Богу, — определяют ее достоинство. Решающий критерий лежит в сознательности, в способности человека сделать правильный свободный выбор. Каждому, кто одарен способностью видеть дальше и глубже, чем обыкновенные люди, тем более придется взвешивать и решать — куда же он хочет следовать.

Мистические силы — силы высшего порядка, и пользоваться ими правильно может только личность высшего порядка.

Григорий ЦЕПЛИОВИЧ

"ВЫДУМАННАЯ ПРАВДА"

Избранные рассказы,  
128 страниц, цена в Израиле — 20 лир, за границей — 2,5 доллара. При заказе непосредственно в издательстве — 16 лир.

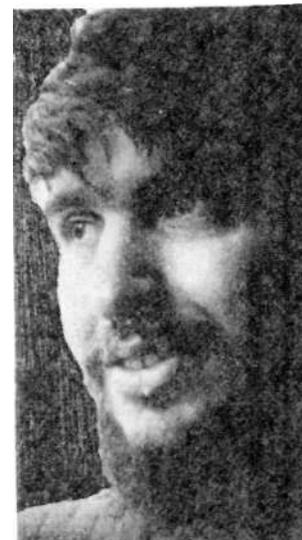
Выходит из печати в октябре 1976 года.

Заказы принимаются по адресу: Улица Нахмани, 62 Тель-Авив. Издательство "Время и мы".

(К заказу должен быть приложен чек, и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.)

\* чем уже проявившиеся спиритуальные силы

## КРИТИКА



Илья РУБИН

## РАСКАЯНИЕ И ПРОСВЕТЛЕНИЕ

(Размышления о романе Владимира Максимова "Семь дней творения")

"Жизнь сызнова начни: легко сказать, а трудно  
Ткань новую заткать, и также мудрено  
Приняться вновь за цель, когда в лампаде скудно  
Чуть пламя теплится, а на дворе темно

П. Вяземский

### БИЛЛ САЙКС И СЕМЕН ЦЫГАНКОВ

Ничто не причиняет читателю больших мучений, чем внезапно ослепшая память. С первых же страниц романа Максимова "Семь дней творения" меня постигло обычное в таких случаях раздвоение: радуясь добротной фактуре максимовской прозы, сопереживая героям, я в то же время не

переставал испытывать ощущение утерянной глубинной связи романа с чем-то привычным, безусловно любимым, знакомым с самого детства — до последних строчек, до мельчайших запятых. Но злободневность реалий, гражданская завербованность писателя дурачили меня до тех пор, пока участковый Калинин и дворник Василий Пашков не вышли в промерзшую до костей январскую ночь на охоту за Семеном Цыганковым — дезертиром и вором... "Во дворе они разделились, и Василий, зябко ощущая в кармане ватника холод пистолетной рукоятки, двинулся к соседнему дому. Крыши обоих домов смыкались и поэтому представляли собой удобное во всех отношениях убежище для человека, у которого временные разногласия с правосудием". И тут я вспомнил...

"Когда убийца выбрался наконец через дверку чердака на крышу, громкий крик возвестил об этом собравшимся перед фасадом дома, и они тотчас же непрерывным потоком пустились в обход, напирая друг на друга. Сайкс так крепко припер дверцу доской, которую нарочно захватил для этой цели, что изнутри было очень трудно ее открыть, и, пробираясь ползком по черепицам, взглянул через низкий парапет". Теперь они бежали рядом — убийца и вор Билл Сайкс, вор и дезертир Семен Цыганков — бежали, затравленно озираясь, грохоча ржавой жостью, обламывая черепицы, отделенные друг от друга лишь одним столетием, отделенные от страшной гибели лишь одним мгновением: "Шатаясь, словно пораженный молнией, он потерял равновесие и упал через парапет" ("Оливер Твист"). "Из-за железного гребня выплеснулся резкий полукрик-полустон, как будто человек задохнулся в ужасе, и следом за этим оттуда, снизу, донесся грузный шлепок, похожий на звонкую пощечину" ("Семь дней творения"). И, пока считанные секунды смертного падения неотвратимо преображали справедливость в убийство, заслуженную кару в палаческое, лобное действие, я успел разглядеть наконец неожиданное лицо максимовского двойника. Это был Чарльз Диккенс.

## РЬЦАРИ РЕВОЛЮЦИИ

В 1917 году Россия — этот громадный, ленивый зверь, по-медвежьи неопрятный и по-медвежьи добродушный, — умирала, обезумев от улюлюканья безжалостных егерей, стремясь отползти подальше от Петербурга — в Сибирь, что ли, или в раскольничью, клюевскую духоту деревенской избы, или в басмаческую пустоту киргизских степей. Россия умирала — но в ее агонизирующем теле продолжал биться пульс литературы. Сквозь матерщину, сквозь хриплое твяканье лозунгов еще слышался "язык бессмысленный, язык солено-сладкий" — на опустевших, обезлюдевших улицах он раздавался со странною, напоминающей о бессмертии гулкостью. И все-таки — литература тоже умирала, — в преддверии обысков, допросов, расстрелов, лагерей ее сладость отдавала гробовой горечью. Однажды богатырь Самсон зашел полюбоваться трупом убитого им льва — "и вот, рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои, и пошел, и ел дорогою; и, когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели; но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей" (кн. Судей 14, 8 — 9).

Превращаясь постепенно из литературы русской, то есть общечеловеческой, в литературу советскую, то есть внечеловеческую, она все более теряла главное свое достоинство — безошибочность различения Добра и Зла (для меня эта безошибочность неразрывно связана с тремя именами — Чехова, Диккенса и Томаса Манна). Сходили с ума или погибали те немногие, для которых необходимость такого различения была равнозначна возможности существовать. Кое-кому удалось бежать на Запад — но о них речь впереди. Остальные — приспособились, сменив сложность м и р о в о з з р е н и я на простоту м и р о в о з з р е н и я (не важно в конечном счете какого — советского или антисоветского). О человеке с мировоззрением всегда можно сказать, "чьи интересы он выражает" — пролетариата, трудового крестьянства или интеллигенции; кого винит во всех несчастьях — империалистов, большевиков или мировой сионистский заговор; кого

ненавидит — буржуев, подкулачников, уголовников или евреев. И еще о нем известно, что войны для него делятся на справедливые и несправедливые, что начальника охранки он именует "рыцарем революции", а озверевшего мужика, забивающего кол в задницу конокраду или насилующего комсомольскую активистку, — "борцом за народное дело".

О человеке с мироощущением всего этого сказать нельзя. В политике он полный профан — и никак не поймешь, что ему больше нравится — просвещенная монархия или парламентская четыреххвостка. Против всякого насилия он возражает, даже не выслушав людей с мировоззрением — а нет ли в этом случае насилия высшей государственной целесообразности: "Пусть Дрейфус виноват — и все-таки Золя прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание" (Чехов в письме к Суворину от 6 февр. 1898 г.). Экая дурацкая логика — но, как ни странно, и в формально-уголовном смысле Золя и Чехов оказались правы! С легкостью необыкновенной порхает литератор без мировоззрения по всем общественно-политическим платформам — сегодня он революционер, а завтра — реакционер, на одной странице проповедует Царство Божие, чтобы, увидев плачущего ребенка, отречься от него на другой. Он призывает милость к падшим — и никогда не интересуется, откуда они пали и почему. В самый жестокий век он готов славить свободу, не потрудившись уточнить — какую свободу, для кого и на каких условиях. Повинуясь смутным приказам мироощущения, он всегда и все делает невпопад — с любовной едкостью обруживает Россию в своих "Философических письмах", чем и снискивает единодушную ненависть всех русских патриотов — от вчерашних патриотов-идеалистов до сегодняшних патриотов-материалистов. Или предсказывает России великое будущее — и все российские либералы во главе с Белинским обрушивают на него совсем не по-либеральному яростный гнев. Им нелегко жилось и при "неистовом Виссарионе" — людям без мировоззрения. А при Иосифе Виссарионыче им осталось только одно — исчезнуть, сгинуть, раствориться без следа. Или — срочно

обзавестись мировоззрением (самым передовым в мире). Исчезнувшие — исчезли, да так прочно, что лишь теперь послесталинский сквознячок стал доносить до нас их слабые, глухие голоса. А остальные, нашедшие себя по ту или иную сторону баррикад, — что ж, мы читали их — иногда с удовольствием, реже — с уважением. И ностальгически тосковали по Диккенсу — олицетворению той блаженной идеологической путаницы, когда слабый и обиженный всегда прав, когда всякий голодный заслуживает куска хлеба, а всякий грешник — милосердия. Нет, мы уже не ждали всего этого от современной русской литературы — просто, когда становилось уж совсем невмоготу, откладывали в сторону "Тихий Дон" и брали в руки затрепанный томик "Оливера Твиста". Повторяю — мы уже не ждали, когда в свет начали выходить один за другим романы Владимира Максимова.

### "ПОЛИГОН МИРОВЫХ БЕЗОБРАЗИЙ"

Живя в Союзе, мы плохо знали литературу русской эмиграции. С милостивого изволения властей мы прочитали "Жизнь Арсеньева" и "Темные аллеи", без позволения — сумели услышать о существовании Замятина, Набокова и Алданова. Мы почти ничего не знали о жизни русских писателей-эмигрантов, они о нас знали и того меньше. Мы поняли, что последний русский классик Иван Бунин более сорока лет жил в той самой России, которая канула в прошлое так же безвозвратно, как Атлантида, — это было прекрасно и жутко. Читая Владимира Набокова, мы видели, как русская литература перестает быть русской, оставаясь при этом литературой в самом высоком смысле этого слова. Все это казалось нам бесконечно далеким — и помещичья проза Бунина, и абстрактный пафос замятинской антиутопии, и брезгливо отстраняющееся от реальности Лубянки и Колымы "Приглашение на казнь". Накрепко связанные с ними золотой нитью пушкинского слога, мы ощущали себя животными иной породы — и лишь сторонний наблюда-

тель мог бы углядеть общего предка в нашем далеком легендарном прошлом.

Так могло бы продолжаться еще очень долго — но русский литератор, замордованный почти до полной утери человеческого облика, скрюченный в три погибели цензурой и государственным сыском, — неожиданно для всех распрямился, "вышиб дно — и вышел вон". И все преобразилось как по мановению волшебной палочки — коростю отшелушились зловещие ярлыки времен раскола — "советский" и "эмигрантский"; восстановилось поправное и забытое единство русской литературы — восстановилось не только в концепциях ученых литературоведов, но и в глазах рядового читателя: вся Москва обсуждает свежий номер "Континента", где мирно соседствуют московский поэт Владимир Корнилов и "американский" поэт Иосиф Бродский, тель-авивский журнал "Время и мы" публикует рядом новые произведения "парижского" литератора Виктора Некрасова и московского прозаика Бориса Хазанова. Последнюю книжку Померанца перелистывают отныне не только в Бостоне и на Лубянке — ее читают в Ленинграде, Омске и Костроме. Имя Солженицына произносится в России чаще, чем имена Шолохова, Федина и Леонова вместе взятых. Словом, восторжествовал "гамбургский счет", а русский Гамбург — он теперь везде, где говорят, пишут и думают по-русски. Пришла наконец пора возвратить в лоно русской литературы ее последних изгнанников — милосердие, сострадание, требовательную чистоту доброго разума...

"Семь дней творения" — семейный роман (что побудило В.С. Франка сравнить его с другой "фамильной эпопеей" — "Сагой о Форсайтах"). Потомственные пролетарии, убежденные коммунисты, три брата Пашковы — Петр, Василий и Андрей — принадлежат к тому поколению, которое железной, безжалостной рукой вздернуло Россию на дыбы — и не смогло удержать ее на краю бездны. Им не чужды сострадание, благородство и честь — но все это, перефразируя Салтыкова, проявляется у них лишь "применительно к Партии". Андрея, бестрепетно загонявшего в церковь стадо скота, иногда одолевают мысли, недостойные настоящего

коммуниста: "Мир вдруг разделился перед ним на тех, кого гонят, и тех, кто гонит. Они — Пашковы — всегда, сколько Андрей себя помнил, принадлежали ко вторым. И в нем вдруг, как ожог, возник вопрос — а почему? По какому праву?" Дворник Василий — молчаливый, покорный участник всех обысков, высылки, арестов и облав, пронесшихся над обезлюдевшим от ужаса московским двориком, — нетнет да и взвывает в пьяной тоске: "Я два года по Кара-Кумам басмачей гонял. Вот, — он рванул на себе ворот рубахи, — она у меня не купленные. А теперь вроде бы и дышу по особому распоряжению. Это — порядок?" Лишь Петр (недаром ему досталось каменное имя старшего из апостолов) без колебаний и сомнений служит знаменам своей юности, залубевшим от несправедно пролитой крови, — но и его настигает позднее старческое прозрение. Пробуждение Петра Пашкова диалектически-неуловимо переключается с троекратным отречением апостола — ведь и отречение свидетельствует не только о постыдной слабости и обманутом доверии, но и напоминает о человечности, взывает к прощению.

Россия Максимова — это та Россия, которую все мы знаем, — беспощадное, нудное царство несвободы, страха и лжи. Он говорит о ней с почти чаадаевским отчаянием: "Господи, и что же это за часть света такая! Будто полигон для всяческих мировых безобразий. Почему, с какой стати, что за наваждение? Мало того, что сами в грязи тонем, но еще лезем рабской неумытой рожей своей в Европу, других учить уму-разуму". Это проклятие, интимно адресованное и прикрепленное словом "мы", библейски-традиционно: "Мы лежим в стыде своим, и срам покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом, Богом нашим, — мы и отцы наши, от юности нашей и до сего дня" (Иеремия 3,25). Нет, Максимов не высчитывает, кто и сколько задолжал России, кто и в чем пред нею виноват — поляки ли, свергнувшие царя Бориса рукою Самозванца, латышские стрелки или еврейские комиссары. Ведомый лишь простодушием религиозного мироощущения, автор забывает особо отметить национальную принадлежность вертухая — зато не упускает

случая помянуть добрым словом "праведника Осипа Меклера". Максимов не соблазнился заменить вконец опаскудевшее классовое самосознание тем странным мировоззрением, которое считает безвинно посаженного в лагерь эстонца действительно безвинным, а столь же безвинного латыша — как бы и виновным. Он избрал иной путь — обезлюдевший за последние несколько десятилетий, заросший глухим идеологическим сорняком, устланный трупами одиноких пешеходов. Не в социальной хирургии, а в хирургии духа он видит спасение России. Как и все люди, руководствующиеся нравственностью и здравым смыслом, Максимов не торопится сказать, что надо делать, кого — казнить, а кого — мловать. Но зато он хорошо выяснил, чего делать не надо, — об этом с обезоруживающей ясностью говорит один из героев романа своему собеседнику, охваченному сектантской яростью: "Всех ненавидите! Ортодоксов, мещан, участковых. Собратья твои, что из лагерей пришли, уголовников ненавидят... Поэтому если вы начнете, я сяду за пулемет и буду защищать этот самый порядок, с которым не имею ничего общего, до последнего патрона. Буду защищать вот этих самых мальчиков от очередного, еще более безобразного бунта. Лучше, что есть, чем вы. Вы — тьма. И Боже упаси от нее Россию".

Но в этой России, утонувшей в грязи, России, на которую наступает еще одно облако непроглядной тьмы, появилось, если верить Максиму (а я ему верю), нечто доселе невиданное, ослепляюще-новое. Еще вчера подземный российский гул слагался мириадами хаотических монологов, полугадушенных ненавистью и властью — сегодня же от губ к губам протянулись паутинные ниточки диалогов, пунктирно и неуверенно обозначилась сказочная, немыслимая перспектива всечеловеческого понимания. Откуда-то явились люди (казалось, выжженные каленым железом много лет назад), завязавшие узелки диалогов, сумевшие поднять божественное ремесло человеческого общения высоко над хриплой классовой грызней за существование. Вот старый ветеринар, бывший корниловец, замечает вдруг в коммунисте Андрее Пашкове религиозного, в сущности, человека, взвалившего

на себя непосильную, изнурительную ношу — и не по внутреннему убеждению, а из "фамильного гонора". Вот еврей Осип Меклер рассуждает с дочерью Петра Пашкова, Антониной, об антисемитизме: "Я понял, что ненавидят не нас самих, не нашу национальность, а наше благополучие, наше неучастие во всеобщей нищете, наши не связанные с черной работой профессии. Национальность наша лишь бирка к ненависти, короткое наименование злобы. В России так же ненавидят всех, кто живет лучше". А вот, после самоубийства Осипа, православная христианка Антонина пишет своему "духовному отцу": "Жальче всего, погиб человек, я вам о нем писала, тот, который из евреев, Осипом звали... Вы, Лев Львович, человек праведной жизни, скажите мне, можно ли раба Божьего, руки на себя наложившего, отмолить?" Вот она, великая российская надежда наших дней, — не для того, чтобы вцепиться друг другу в глотки, но в Боге и разуме встречаются белогвардеец — и коммунист, верующая христианка — и наивный иудей-правдоискатель, отказавшийся "выть с волками площадей". Еще вчера советский читатель ни за что не поверил бы эмигрантскому писателю Максиму, зачеркнул бы все его прекраснотушие многоопытной, с гнильцой, советской усмешечкой. Но сегодня, когда русский писатель Максимов запросто встречается с российским читателем, — не поверить нельзя. Верил же Смердяков, лакейски отрицавший всякую порядочность, всякую мораль, что где-то в мире скрываются два праведника, которые одним велением "могут гору в море спихнуть". И не настолько же мы все погрязли в смердяковщине, чтобы не увидеть всей жаждой своего многолетнего ожидания, как сдвигают российские праведники горы непонимания, страха и лжи!

## КТО ПОГУБИЛ РОССИЮ?

Сказанное выше может навести читателя на мысль, что Владимир Максимов взирает на исторические судьбы России чуть ли не с утопическим оптимизмом. А между тем — он трезвее и беспощаднее многих и многих современных русских писателей. Последнее время в среде "неофициально мыслящей" интеллигенции широко бытует тот сорт историко-софских концепций, что описывается классическим истошным воплем: "погубили Россию!.." Кто погубил — не суть важно: в роли "погубителей" поочередно выступают жида, немцы, масоны, люмпены, династия Романовых вкупе с Гришкой Распутиным, социал-демократы, социалисты вообще, татаро-монголы ( ! ), Петр I с его реформами... Все подобные теории объединяет своеобразный историко-софский дуализм: в России извечно борются два противоположных начала (чуть ли не два народа!); первое, олицетворяющее всю полноту присущих русскому человеку политических, религиозных и экономических добродетелей, в 1917 году потерпело трагическое поражение от второго — одержавшего победу благодаря тесному союзу со всеми силами мирового зла. В последующие десятилетия побежденные подверглись тотальному уничтожению — голодранцы истребили зажиточных и трудолюбивых, атеисты — верующих, инородцы (латыши, евреи, кавказцы, казахи, татары) — русских и украинцев. Многие, глядя на пожелтевшие старинные дагерротипы, вздыхают горестно — канули в Лету эти добродушные, мудрые, каратаевские лица, добродетельно обросшие патриархальной бородой. Вся эта философия сводится к нехитрому, в сущности, утверждению: одни люди махали винтовкой, другие — мирно пахали землю, одни шли на смерть и мучения за веру — другие оскверняли церкви и топили иконами печи. Одни даже в лагере жили припеваючи (евреи, коммунисты, уголовники, кинорежиссеры). Другие, представляющие истинную, метафизическую Русь,— работающие иваны, праведные матроны, орлы-танкисты — не служили в придурках, не обходили с овчаркой Зону, не

грызлись друг с другом за место у окна, не вылизывали чужих мисок. Зачастую подобные концепции религиозно окрашены и сопровождаются призывами к всеобщему покаянию. Но о каком покаянии может идти речь, если одним — безвинным страдальцам и мученикам — каяться не в чем, а другим, генетически приверженным злу, каяться так же бессмысленно и невозможно, как волку — сокрушаться о том, что он не вегетарианец?

Многих наших современников, искренне пекущихся о судьбах России, соблазнило это м и р о в о з з р е н и е (психологически чрезвычайно схожее с марксизмом) — соблазнило — и завело в черт знает какие дебри. Но писатель Максимов понял (нет, не понял — впитал вместе с мучительной своей биографией) горькую — но благодетельную — истину: это они, платоны каратаевы со старинного дагерротипа, шли в ЧОН, жгли блоковскую библиотеку, мазали иконы свиным навозом. Это они — Пашковы — плоть от плоти и кость от кости русского народа — отрекались от своих верующих матерей и жен, и сыновей — вредителей и шпионов. Это они — или их потомки — служили вертухаями в Инте, писали доносы и поклонялись светлому образу Павлика Морозова. У них изменилось выражение лица — что ж, было от чего ему измениться!

В своем миропонимании Максимов глубоко религиозен. Но его религиозность сродни религиозности Чаадаева, а не Аракчеева; Владимира Соловьева, а не Победоносцева. Октябрьская победа революционной бесовщины представляется ему заблуждением в с е й России, всеобщей бедой и всеобщей виной. "Чего-то мы тогда не учли, — жалуется бывший корниловец Григорий Иванович Бобошко Андрею Пашкову, — а чего, не знаю... Впрочем, знаю. Психологии русского крестьянина не учли. А ведь нас должна была научить пугачевщина. Максималист он, анархист, мужичишко наш православный. Он одним днем живет, а мы ему Царство Небесное...". Да, евреи, латыши, армяне, грузины принимали активное участие в революции — в р у с с к о й революции, порожденной русскими условиями, приведшей к результатам, возможным только в России. Вполне возможно, что

именно благодаря поддержке национальных меньшинств, войне, немецким деньгам и многим другим факторам, которые учесть значительно труднее, русский бунт, "бессмысленный и беспощадный" (по выражению Пушкина), не был подавлен, но привел к победе большевиков. Но эта гремучая смесь была приведена в действие Россией, вставшей на путь самоистребления, и сама Россия несет ответственность за постигшую ее катастрофу. Вся Россия — не только русские Пашков и Калинин, но и еврей Меклер, и украинец Гупак, и немец Штабель. Иной и не может быть истинной религиозная точка зрения — свобода выбора, органически включающая в себя ответственность за всякий поступок, всякую мысль, всякое движение души — есть необходимое условие полноценного бытия и личности, и нации. Сторонники концепции "погубили Россию" отводят русскому народу роль политического и духовного недоумка, способного разрушить свою государственность, религию, культуру, обратить себя в жесточайшее рабство по наущению нескольких злодеев. Если бы это было так, то русский народ был бы достоин своего рабства, и безразлично, кто держит в руках кнут — еврейские наркомы 20-х годов, грузинский диктатор следующих трех десятилетий или современная нам шайка политических проходимцев, состоящая из несомненных славян!

Русский писатель Максимов понимает — недостойно перекладывать свою вину на чужие плечи, унижительно взывать к тупоголовым и жестоким советским вождям. Нет, он призывает каждого из тех, кто составляет великое целое — Россию, осознать свою глубокую причастность к ее бедствиям, унижениям, скорбным потерям: "Может, в том наша судьба, лашковская, изойти с этой земли совсем, чтобы другим было неповадно кровью баловаться?" Это говорит Вадим, внук старого коммуниста Петра Пашкова. И когда дед пытается возразить ему привычным: "разве мы плохого хотели, когда начинали", — Вадим жестко отвечает ему: "Это факт вашей биографии. От этого никому не легче. Думать надо было". Максимовская Россия не ищет оправданья — она спрашивает с себя полной мерой. Как Иов, поднимается со своего гноища совесть народа — богоотступ-

ника, осквернившего кровью алтари, и страстотерпца, принявшего на себя нечеловеческие муки. Сквозь монашескую неумолимость самоосуждения проглядывает надежда — страна становится вровень с "фактами своей биографии" — Сталинградом и Колымой, Бабьим Яром и Катынью, патриархом Тихоном и Осипом Мандельштамом!

## РОССИЯ МИСТЕРА ДОМБИ

Бесконечно-причудливы пути литературных типов и ситуаций — из книги в книгу, из века в век. Иногда возвращение к прототипу бывает глубоко ироничным — так выглядит, к примеру, совершенно нелепое, но очевидное родство Акакия Акакиевича Башмачкина с набоковским Гумбертом Гумбертом — главным героем "Лолиты". Сходство начинается с удвоения имени и психологически (вернее — психопатологически) продолжается во всех деталях развития обеих мономаний — одежной мономании гоголевского чиновника и сексуальной мономании Гумберта Гумберта — от кажущейся неосуществимости мечты, поглотившей все помыслы, через апогей и блаженство краткого обладания — вплоть до окончательной утраты драгоценного предмета страсти, трагического финала и мести, причем "Шинель" являет собой как бы опрокинутую в прошлое пародию на "Лолиту". Ирония усиливается еще и тем, что "Лолита" — подчеркнуто не-русское произведение, и автор именно в этом романе обдуманно, декларативно, с нарочитой резкостью порывал с русской литературой и ее традициями. Но предельной отчужденности от целей и духовных задач русской литературы Набоков достигает при помощи средств, взятых из ее же арсенала, — гоголевская мелодия "Лолиты" инструментована исповедью Ставрогина и предсмертными видениями Свидригайлова.

Описанный выше случай литературного родства — стихийного, биологического, почти жуткого — таков, что отвернется, пожалуй, с отвращением насмерть перепуганный родич

от незваного собрата, не желая узнать себя в чертах его облика, искаженных гримасою похоти и бесстыдством. Совершенно иным видится мне скрещенье путей Владимира Максимова и Чарльза Диккенса. Их объединяет общность миропонимания, то, что Достоевский называл "деятельной любовью", при этом добавляя: "Любовь же деятельная — это работа и выдержка, а для некоторых, пожалуй, целая наука". Следуя этой трудной науке, едва ли не в каждой своей книге встречается Владимир Максимов с автором "Пикквикского клуба". Не пытаясь расчистить современному русскому писателю, еще не установившемуся, но с т а н о в я щ е м у с я , такое же исключительное место, какое занимает в мировой литературе Диккенс, я хочу все-таки указать, что, подобно диккенсовским персонажам, герои "Семи дней творения" по капле собирают очищенную от всех ядовитых идеологических добавок эссенцию добра и сострадания.

Война... В тупике станции "Пенза-товарная" застрял поезд с цирковым зверинцем. Облокотясь о клетку, где обитает облезлый, полуголодный лев, скучливо томятся от полуденного зноя два циркача, приземистый толстяк в майке и высокий красавец в крагах и галифе. И вдруг — "по ту сторону платформы, натужно пытая, выплыл паровоз, за которым потянулись красные пульманы, с люками, наспех забранными колючей проволокой. Через ее щетинистые ячейки проглядывались лица, множество детских лиц". "Что же это?" — с ужасом спрашивает толстяк. И ему буднично объясняют: "РВН. Родственники врагов народа". (Ох уж эти советские аббревиатуры, воспетые Орвеллом, — КПСС, ЧК, КГБ, ОВИР!..) Оцепеневший на мгновение толстяк внезапно срывается с места — и через мгновение он стоит перед жуткими вагонами с балалайкой в руках. Он лихо ударяет по струнам, выкрикивает дурацкие прибаутки времен Керзона и пакта Келлога и взывает к своему напарнику, испуганному, растерянному, дрожащему: "Где ты, Бим? Ты слышишь меня, Бим?" Проходят секунды — и красавец в галифе отзывается: "Я здесь, Бом. Здравствуйте, дети, это я — Бим!" ... Друзья старались вовсю. Они пели, плясали, ходили на руках и даже били друг друга. И конечно же плакали при этом. В их действиях

сквозило что-то отчаянно-исступленное. Казалось, они решили показать ребятам все, что умели, и все, на что были сейчас способны"...

Эшелон с детьми внезапно трогается, избавив клоунов от неминуемой жестокой расправы — лишь с подножки удаляющегося пульмана звучит прощальное карканье вертухая, адресованное красавцу Биму: "Я тебе, жидовская морда, покажу номер. До смерти кровью харкать будешь..."

Многие элементы, составляющие неповторимое очарование диккенсовских романов, встречаются в этом эпизоде — дети, в смехе забывающие свое взрослое горе, бесстрашное и чудачковатое добро, тупые физиономии служителей насилия, осмеянных и оставшихся на этот раз в дураках. Нова разве что колючая проволока — ее во времена Давида Копперфильда и крошки Доррит еще не изобрели. Но главное заключено в подтексте — с мягкой настойчивостью Максимов утверждает свой взгляд на задачи искусства в мире торжествующего зла.

Я уже упоминал в начале статьи поразившее меня сходство двух погонь, двух смертей. Оба беглеца — и Билл Сайкс, и Семен Цыганков — пытаются спастись от озверевших, безжалостных преследователей на крышах домов. Затравленные, гонимые ужасом, они на мгновение как бы возносятся над беспощадной мстительностью правосудия, над его механической жестокостью. Они будто стараются, собрав последние силы, приблизиться к небу, чтобы вымолить у него пощаду. Может, это им и удается — кто знает, что происходит с душой, когда тело обвисает в петле или грузно шмякается о землю? Как и Диккенс, Максимов глубоко чувствует отчуждение от человечности всякого "Дела" с большой буквы — будь то судовладельческая фирма "Домби и сын", уголовное право или коммунистическая революция. "Делу" нельзя служить нравственно — вокруг беззаветного фанатика Идеи образуется мертвое пространство, рушатся жизни, гибнут в нищете друзья, умирает все, что мешает "Делу". А мешают ему — люди, неуклюжие, наивные, неспособные угодить могучей, наглой, всеобъемлющей лжи, перекричать напыщенную трескотню лозунгов. Топорный, варварский ма-

териализм, необходимо присущий всякому "Делу", с обманчивой наглядностью и простотой разрешает все мучительно сложные, "проклятые" вопросы — и наполняет его служителя агрессивным сознанием своей постоянной и непререкаемой правоты. "Петр Васильевич всегда считал себя правым. Всегда и во всем... Самым употребительным в его лексиконе было слово "нельзя". Нельзя того, нельзя этого. Нельзя вообще ничего. Но дети росли, и мир с каждым следующим днем становился выше и шире его "нельзя". И они уходили, а он оставался в злорадной уверенности в их скором возвращении с повинной. Но дети не возвращались. Дети предпочитали умирать в стороне от него".

Мистер Домби говорил "нельзя" своей жене, своим детям, своим служащим. И в его угрюмом доме поселились молчание и смерть. Пашков сказал "нельзя" всей России. И вся Россия вокруг него начала мертветь и коченеть, обращаясь в пустырь, застенки, психушку, лагерь. Процветало лишь "Дело" — не то, что виделось в горячечных мечтах самому Пашкову, наивному и жестокому "солдату Революции", но дело сатанинского порабощения великой страны, дело бюрократического распутства доносов и протоколов. Оно смеялось над Россией, ее историей и народом, посмеялось и над Пашковым — расчеловеченным, обворованным до нитки, одиноким. Но в самодовольном торжестве "Дела", в победительной откровенности его саморазоблачения таится, словно кашеева смерть, начало его крушения: даже простейшие, рабские добродетели рядового служителя социального культа — бескорыстная собачья верность, нерассуждающая готовность принести любую жертву — вступают во враждебное противоречие с абсолютной аморальностью "Дела". Все мало-мальски живое в ужасе отшатывается от него. Разоряется казавшаяся несокрушимой фирма мистера Домби, задыхается в голоде и насилии родина Петра Пашкова. Наступает время переоценки и отвержения убогих ценностей, накопленных за десятилетия беспорочного служения Злу. Приходит страшная пора раскаяния. Но где раскаяние — там и прощение. С Божественной щедростью одаривают стариков

счастьем предсмертного просветления Чарльз Диккенс и Владимир Максимов.

Снова ползут на северо-восток затянутые колючей проволокой эшелоны. "Где ты, Бим?" — кричит в отчаянии добрый английский фокусник. Несколько секунд молчания. И откуда-то из-за платформы доносится голос: "Я здесь, Бом!"...

*Август 1976.*



Майя УЛАНОВСКАЯ

## КОНЕЦ СРОКА - 1976 ГОД

Окончание. Начало см. в №9 журнала.

### 4. ЛАГЕРЬ

#### 42-я колонна

Осенью 1952 года был этап с 49-й колонны на 42-ю, Туда отправляли слабых работников. Был это инвалидный лагерь, то есть мы, работоспособные, обслуживали себя и несколько сот инвалидов. С начала ноября мы узнали, что такое сибирские морозы. Доходило до 58 градусов, но нас в любую погоду выгоняли из бараков. 40 градусов — предел для настоящих работяг на норму, но для нас предела не существовало. Но все-таки можно было как-то спастись, забежать в обогревалку, если работа в хоззоне, или в барак, если, не найдя ничего другого, нас просто посылали разгрести снег.

Когда нас привезли на 42-ю, случился такой эпизод. Нас заперли в бараке, так как заключенные-мужчины, которые до нас здесь жили, еще не были отправлены с колонны. Подошли к дверям несколько мужчин, отодвинули наружный засов. Но мы заперлись изнутри, так как нам внушали надзи-

ратели, что это очень опасно, если они ворвутся,— они много лет не видели женщин и все равно как звери. Мужчины стучали, просили открыть дверь, чтобы хоть одним глазом взглянуть на нас, а мы испуганно молчали. Наконец я решила, что все это неправда, что нам о них говорят, и отодвинула засов. Несколько человек вошли, озираясь, как будто бы тоже от страха. Они ходили между вагонками, присаживались на нары и говорили нам с упреком: "Товарищи женщины, как вам не стыдно нас бояться, разве мы — звери?" Бритоголовые, одетые еще более убого, чем мы, они только начали расспрашивать нас — откуда мы, искать земляков, — как ворвались надзиратели и выгнали их, а нам было стыдно, что мы поверили псам, настраивающим нас против наших же братьев.

Мужчин мы видели обычно издалека, как они идут серой колонной. У нас бывали хотя бы пестрые платки и блузки, если позволяло начальство выходить не в казенном за зону. На них конвой чаще кричал, громче лаяли собаки, и они казались еще более забитыми и покорными. Мы их жалели, а они — нас. Иногда удавалось поговорить с ними на этапах и на пересылках. Позже они приезжали к нам в составе культбригады. Некоторые расконвоированные женщины встречались с мужчинами за зоной. Бывала переписка, если мужчины работали поблизости от нашего лагеря.

Однажды кто-то принес записку, в которой некий Гена предлагал кому-нибудь начать с ним переписываться, так как он соскучился по женскому теплу. Я решила ему ответить. Он прислал свою фотографию и написал, что сидит по "военной статье" (может быть, дезертирство) и имеет возможность ходить за зону без конвоя. Я тоже послала ему фотографию — тогда, в 54-м году, можно было сниматься, но написала, что у меня — 58-я, 25 лет срока и за зону меня без конвоя не пускают. Он ответил, что на фотографии у меня очень симпатичный и интеллигентный вид, что на воле у него была знакомая, похожая на меня, но жизнь наша слишком тяжела, чтобы переписываться без надежды на встречу. На том дело и кончилось, и осталась у меня его фо-

тография — парень в кепке и безрукавке, — принарядился для снимка.

Здесь, на 42-й колонне, я встретилась с Верой. Пришел новый этап, и в столовую потянулось новое пополнение. Вера выделялась высоким ростом; мужская ушанка была надвинута до самых глаз. Она хромала на обе ноги — обморозила в этапе, но лицо ее было какое-то задумчивое и отрешенное. Мне сказали, что она из Москвы, и я пошла вечером к ней в барак поговорить. Скоро мы подружились. Я узнала удивительную историю ее ареста, и все в ней меня удивляло. Тогда ей было 34 года. Дед ее был известным до революции фабрикантом, мать — дворянкой. Среди ее предков были знаменитые писатели, артисты, ученые. Пастернак был ее другом, и художник Фальк, и такие люди, имена которых я в первый раз от нее услышала. Однако я знала и Шекспира, и Пушкина, и мне даже удалось убедить Веру, что Некрасов — хороший поэт. Вот когда мне пригодилось выученное в Лефортове его стихотворение "Рыцарь на час". Вера была тронута.

Она была религиозна, и мне было легче понять с ее помощью высоту религиозного сознания, утонченность культуры, не благоприобретенной, а воспитанной веками, культуры с корнями, которую получаешь по наследству. В юности Вера была комсомолкой, проклинала своих предков-капиталистов. За это, как она была убеждена, Бог ее и покарал тюрьмой. Переносила она заключение с исключительным смирением и кротостью. Мне она казалась похожей на христианскую мученицу, казалась олицетворением добра. Она хотела быть доброй, очень привлекала к себе людей, но у нее не хватало сил обогреть всех, кто к ней тянулся. Я впервые столкнулась с особым явлением — добротой из принципа, которая была выше ее человеческих возможностей.

Мне общение с ней принесло много и радости, и горя.

В дополнение ко всему волнующему в ее облике, история ее ареста была из ряда вон жуткой.

Был у нее большой друг, композитор Шуринька, известный и теперь. Познакомилась она с ним в тяжелый период своей жизни, после разрыва с любимым человеком, тоже музыкан-

том. Визиты Шуриньки, проникновенные беседы с ним, когда он глядел на нее и бормотал из А. К. Толстого: "Таких очей, благих и ясных, никто не видел никогда", — очень ее утешали. Он был необычайно тонким, интересным человеком, его волновали, например, проблемы предательства, в частности, личность Иуды Искариота. Он был согласен с толкованием образа Иуды, предложенным Леонидом Андреевым, а именно — что Иуда любил Христа. Были у Шуриньки и неприятные черты. Известно было, что он жесток с женщинами, что, брошенная им, одна девица покончила с собой. А еще был он морфинистом. Чаще всего в их уединенных беседах Шуринька поносил власть. Формалист в музыке, он имел много неприятностей по творческой линии и вообще очень был нелоялен. Он просто жить не мог — так его все это душило. Верочка, будучи женщиной, находила, что в жизни есть многое другое, заслуживающее внимания, кроме власти — Бог с ней, — например, любовь. "Ах, что — любовь? Нет любви", — проповедовал Шуринька. "Как мне вас жаль", — говорила Верочка. Впрочем, было все это очень увлекательно. И Вера как-то ему сказала: "Вы сыграли в моей жизни необычайно благотворную роль" — и потом вспоминала, каким диким взглядом он на нее посмотрел при этих словах. Шуринька регулярно носил цветы, а Верочка тоже иногда высказывалась — и о своих взглядах, и о взглядах своих знакомых. Например, Шуринька — опять о предательстве. "Как можно на допросах говорить неправду? Ведь нехорошо?" И Верочка с убеждением: "Глядя в глаза, солгу, если из-за моей правдивости человек пострадать может!" Например, если меня спросят: Что за человек такой-то? Я все могу сказать: что он или она — плохой, аморальный, но о взглядах, если что не так, — глядя в глаза солгу!" (Это "глядя в глаза" очень веселило потом следователя.) Короче, Верочку посадили. И вот постепенно она с ужасом убеждалась, что посадил ее не кто иной, как ее друг — все беседы происходили с глазу на глаз. Была еще надежда, что магнитофон пристроили у нее в комнате, но по одной детали поняла она, что не в магнитофоне дело. Имя ее другого знакомого, допустим, Мишка, а следователь, уличая, произносил Машка,

а ошибка такая получается, если стукач написал, а следователь неправильно разобрал. И свидетелем Шуринька не был. Так и полагалось сексоту — остался в тени. Впрочем, следователь и не скрывал своего злорадства: "Нечего было связываться с жидами, Веруня!" Увы, Шуринька был евреем. Еврей, да еще формалист — не было ему ходу. И с жильем было плохо, и только перед самым арестом Веры получил он прекрасную квартиру на Песчаной улице. Все следствие Вера проплакала, так ей было обидно. И мечтала она, что если освободится (дали ей 10 лет, хотя ни в чем она не призналась) и встретит его случайно, то обязательно спросит: "А цветочки тоже МГБ оплачивало?"

После ареста Веры он еще продолжал ходить в их дом, подарил маленькой племяннице Веры велосипед ко дню рождения, а услышав о приговоре, грустно сказал: "Мы потеряли ее на много лет". Но при первой же возможности Вера написала сестре, воспользовавшись бытовавшим в семье жаргоном, какую роль сыграл Шурик в ее судьбе. Холодно встреченный в очередной приход, он больше не появлялся.

На меня рассказ Веры произвел большое впечатление. Я освободилась раньше ее и сразу же выяснила в справочном бюро адрес Шуриньки, благо хорошо помнила его данные: Александр Яковлевич Локшин. Я написала ему письмо, выражая свое презрение. Когда я поделилась своей идеей с отцом и показала письмо, он порвал его и сказал: "С предателями не переписываются, их убивают. Если хочешь, пойдем к нему вместе, и я его убью". Но об убийстве я не могла и помыслить. Какое убийство! Много ли в наше время били стукачей?

Слышали мы потом, что уличать его приходил посаженный им же Есенин-Вольпин. Локшин вышел к нему с маленьким ребенком на руках, рядом суетилась жена, и у Алика не хватило энтузиазма.

Через много лет мой муж, который хорошо знал всю эту историю от Веры, работал учителем литературы в школе для математически одаренных детей. Программа курса была построена так, что давала детям возможность проявить большую самостоятельность мысли. Муж приносил домой

сочинения своих учеников. Особенно интересно написал девятиклассник Саша Локшин о Заболоцком. Фамилия ученика не задела нашего внимания. Мало ли Локшиных! Потом мальчик тяжело заболел, и муж пошел его навестить вместе с одноклассниками. И взял в подарок для Саши томик Пастернака, который я с трудом достала у знакомой продавщицы. По дороге он понял из разговора с ребятами, в какой дом он идет. Но его ждал больной мальчик, повернуть назад было невозможно. Придя в дом, он не мог вести себя иначе, как было естественно в такой ситуации — мальчик ничего не знал об отце. Пили чай, беседовали. Все-таки муж не сдержался и ввернул несколько слов с подтекстом, понятным только Александру Яковлевичу. Говорили о самовыражении художника в искусстве. Локшин считал, что искусство как бы объективизировано, отвлечено от личности художника и отражает реальный мир, а не душу человека. А муж возражал, что если, например, у художника культ Иуды Искариота, то это должно же сказаться в его творчестве? И еще, перед самым уходом, сказал: "А у нас с вами общие знакомые — В. П. и Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. Привет вам от них". Тот поглядел стеклянным взглядом и ответил: "Спасибо".

Муж рассказывал, что он очень безобразен, шея морщинистая, тонкая, и хочется его придушить. Однако ушел восвояси, естественно.

Вера встретила его как-то возле консерватории. Увидев ее, он развел руки, как для объятия, но она, глядя сквозь него, прошла мимо.

В творческих кругах знали о его прошлом и не любили его. Однако жил он вполне благополучно. Пользовался успехом фильм с его музыкой "Лесная быль" — там была чудесная природа, резвились трогательные оленята.

Наконец и я его увидела. Пошла с сыном в концерт в Большой зал консерватории, и все второе отделение была его музыка. Я слушала с отвращением. Музыка мне казалась бесчувственной, деревянной. После концерта на аплодисменты вышел сам Локшин. Он кланялся, как заводная игрушка, и казался мне не человеком, а куклой. Я столько лет

его ненавидела, так часто представляла себе этот момент. Я шла по проходу к сцене, разглядывала его в бинокль и думала, что подойду и скажу ему: "Иуда". А он все кланялся, как кукла, этот сверхъестественный злодей, но был он просто нелюдь, ничто. И у меня вместо гнева образовалась пустота.

История с Локшиным в первый, но не в последний раз столкнула меня с проблемой предательства. Я надеюсь позже написать о других случаях.

Стукачи, которые мне встречались в лагере, были жалкими существами. Они редко могли совершить крупное предательство, в основном гадили по мелочам. Мне казалось, что их подлое ремесло написано на их лицах, и совсем не надо их бояться — они все наперечет. Увидишь и отвернись. И 25-летний срок давал здесь большое преимущество — что еще можно было намотать? Стукачи были "бытовым явлением", неизбежным злом в лагере, но бóльшим злом было бы не доверять людям из страха нарваться на стукача.

В лагерях более раннего времени, когда 25-летники еще не составляли большинства, стукачи были большим злом. Нередки были случаи, когда перед самым концом срока создавалось новое дело, "наматывался" новый срок.

О процессе вербовки я тогда знала мало. 25-летникам меньше предлагали стучать, чем "малосрочникам". Венгерка, о которой я расскажу дальше, в ответ на предложение "помочь" рассмеялась оперу в лицо, и ничего ей за это не было, и срока к ее 10-ти годам не прибавили. Опер у нас воспринимался скорей как комическая фигура, а на 42-й колонне даже по виду был шут гороховый.

На этой инвалидной 42-й колонне было у нас радостное событие — мы поставили пьесу Островского "Снегурочка". Время от времени вставала проблема — участвовать ли в лагерной самодеятельности? Обычно была какая-нибудь дама из Москвы, кровно заинтересованная, чтобы происходили культурные мероприятия, иначе она не удержалась бы на своем месте культорга. На 49-й, где была такая трудная жизнь, желающих после работы заниматься "искусством" было мало. Помню, как чуть не со слезами меня просили

не отказываться от репетиций. Поскольку я жаловалась, что нет сил, культорг добилась для меня недели УП. УП — "усиленное питание" — так, кажется, расшифровывается это блаженное состояние, когда не работаешь и получаешь улучшенную еду. Но никакой самодеятельности на 49-й все равно не получилось. На 42-й был хор, которым руководила настоящая музыкантша. Пели мы патриотические песни, от которых тошнило, пели про любовь — все было дико, но хотелось развлечься.

"Снегурочка" нам удалась. Так как нас освобождали от работы, мы много и добросовестно репетировали. Вера играла царя Берендея, я — пастуха Леля. Начальник КВЧ, посмотрев, сказал с восхищением: "Кто мне ндравится, так это Лель". Мы играли с большим увлечением. Красота романтической сказки, поставленной на жалкой сцене в нашей столовой, захватывала и умиляла. Все, кто видел этот спектакль, не забудут, какой надеждой звучал голос Веры — царя Берендея:

**Изгоним же последний стужи след  
Из наших душ и обратимся к Солнцу,  
И верю я, оно приветно глянет  
На преданность покорных берендеев.  
Веселый Лель, запой Яриле песню  
Хвалебную, а мы к тебе пристанем.  
Палящий бог, тебя всем миром славим.  
Пастух и царь**

**тебя зовут, явись.**

Но в дальнейшем мне все чаще хотелось уклониться от участия в лагерной самодеятельности. Росло сознание, что мы, "артисты", вносим свой вклад в грандиозное надругательство. Когда мы на сцене изображали мужчин, а мужчины на своих колоннах — женщин, было особенно нелепо. Позже была на нашей трассе настоящая культбригада, где было много действительно талантливых людей и настоящих профессиональных артистов. Там мужчины и женщины были вместе. Многие им завидовали — легкая, интересная жизнь. Но чего это стоило, сколько было драм, связанных с подне-

вольным положением, я могу только догадываться, я была от них совсем далека. Как-то они приехали к нам, я увидела двух дочерей атамана Семенова — красивых девушек, отца которых повесили, а они с 25-летним сроком играют и поют. Я иногда хорошо понимала "монашек", для которых любое сотрудничество с властями было "от антихриста". Но мы были не монашки, а обыкновенные люди, без четких идейных установок, просто всего лишённые женщины и мужчины, да еще живущие врозь. И что в лагере — хорошо, а что — плохо, каждый решал за себя. Ничего похожего на ту солидарность заключенных, о которой мы все время слышим теперь, — тогда не было.

Правда, потом мы узнали, что политические выступления в лагере бывали. В 1954 году к нам прибыл этап из Кенгира, и стало известно, что там была забастовка — не восстание, а всего лишь забастовка. В зону ввели танки, заключенных давили и расстреливали из пулеметов. Две моих одноделки были свидетелями этого. Свидетелей было достаточно, и много часов мы слушали поразительную историю мужества заключенных и зверства властей. Узнали мы, что и в других лагерях были вспышки — на Воркуте и в Норильске, и все они безжалостно подавлялись, и это было после смерти Сталина. Впоследствии, на воле, я узнала о другой форме политического протеста — в мужских лагерях бывали случаи убийства стукачей. Я познакомилась с одним таким убийцей, но вызвал он у меня не восхищение, а ужас, хотя я и понимала, что для этого нужно много мужества. Но, конечно, мне представляется позорным наше молчаливое сосуществование с бывшими палачами и предателями, когда знакомый моего знакомого оказывается бывшим стукачом или эмгешником. По меньшей мере, "Родина должна знать своих стукачей".

Мы были на 42-й колонне, когда умер Сталин. Приходит одна немка и говорит: "Унзер эзель ист гешторбен" — наш осел подох. И добавляет, что вчера видела во сне, будто она сидит у Сталина на коленях. Сначала было трудно поверить — он казался бессмертным и неподвластным проклятиям миллионов. Слухи передавались потихоньку, слишком хоро-

шо было известно, что помыслы о его смерти и статья 58-8 — террор — тесно связаны. Но вдруг нас созывают в обязательном порядке в столовую, и начальник читает по газете официальное сообщение. Заключенные молчали. Особой радости на лицах я не заметила. Наверное, никто тогда всерьез не ожидал, что в нашей жизни что-нибудь изменится к лучшему. Некоторые даже опасались, что будет хуже. А были и такие, что плакали. Но это были единицы. Было и такое настроение у некоторых: прораб Марина горевала — как мы оторваны от жизни страны, такое событие, а мы ни при чем. Помню вечернюю поверку, когда тысяча обитателей нашего лагеря выстроилась, как обычно, посреди зоны и что-то тяжелое было в мартовском закате. Но вскоре ощутилась разрядка. На следующий день мы должны были почтить память вождя вставанием. Мы работали в ночную смену на слюде (уже началось слюдяное производство), а днем спали. Нас подняли по случаю торжественной минуты, из-за этого многие не выспались. На следующую ночь я на работе клевала носом, и меня отправили в карцер. В соседней камере сидела старуха — дирижер нашего хора, Наталья Михайловна, дочь известного русского ученого-зоолога, за то, что в этот день вздумала играть на гитаре. Еще, как всегда, сидели рядом в эпилептическом припадке билась уголовница. Больше ничего об этом роковом для всей страны дне — не припомню.

Очень долго все было по-прежнему. Послабления входили в нашу жизнь медленно.

### *20-я колонна*

Летом 1953 года был этап на 20-ю колонну. Там началась новая жизнь. Связано это было со слюдяным производством, которое на 42-й только налаживалось. Тяжелы были ночные смены, и вредная это работа — рассказывали, что когда умирал кто-нибудь из работавших на слюде, то при вскрытии было видно, что все легкие покрыты слюдяной пылью. (Естественно, помещения плохо проветривались.) Но мы были

счастливы, вспоминая работу зимой на морозе, а летом на жаре и мошке. И все время висела угроза отправки со слюды на более тяжелую работу, так как норма была высокая и мало кто ее выполнял.

На 20-й были цветы — признак либерализации. Там я снова встретила с Галкой, там была по-прежнему Вера и несколько очень симпатичных немков.

В лагере были русские немки — фольксдойч и немки из Восточной Германии.

Каролина, немка с Поволжья, рассказывала мне, как их привезли в ссылку в Архангельскую область. "Это было глухое место. Мы мерзли и голодали. Дети не ходили в школу. Мой муж — простите — целый год был импотентом. Раньше там жили ссыльные поляки, но они все вымерли. Только мы, немцы, могли это выдержать".

Немок из Восточной Германии арестовывала немецкая полиция, судил немецкий суд за преступления, будто бы совершенные ими против Восточной Германии, но срок они отбывали почему-то в Сибири и, как и все другие иностранцы, попадали после отсидки в ту же ссылку, что и советские граждане.

Я относилась к немкам без предубеждения. С тех самых пор, как отец во время войны сказал, что нельзя ненавидеть весь народ, что он многих немцев знал в молодые годы,— я это твердо усвоила. К тому же, когда я с ними столкнулась впервые, они были в исключительно тяжелом, даже по сравнению с нами, положении. Совсем оторванные от близких, чужие в чужой стране, лишённые даже того жалкого имущества, которое было у каждого, они только за несколько месяцев до освобождения в 1954 году стали получать посылки, как говорили, через Красный Крест, а писем не получали никогда.

Большинство из них сидели за контакты с Западной зоной и за связь с русскими.

Мне хотелось узнать, что это за люди. Люди были разные.

Помню Рут, худенькую интеллигентную девушку, которая познакомила меня со стихами Рильке. Рут читала по-немецки, Рита переводила (часто немки совсем не знали русского языка, так как общались в основном друг с другом.

Некоторые из них, арестованные в последние годы, учились в школах русскому языку), потом я учила стихи наизусть.

Особенно мне нравились стихи :

"Es wahr ein Tag der weissen Chrysanthenen"

Рут рассказывала мне про Ницше, племянник которого был ее "трук", и ее рассказы не укладывались в рамки моих невежественных представлений. Портниха Лена тосковала о своих детях, о которых ничего не знала несколько лет. Я говорила ей, что она похожа на типичного "фрица", как у нас изображали на карикатурах, — очень светлые волосы и глаза, закутанная в единственное сокровище, теплый платок, до самого кончика замерзшего длинного носа. От платка осталась половина — остальное пришлось порвать в тюрьме на клочки — видно, в смысле гигиены немецкая тюрьма не отличалась от советской.

Она и ее подруга Ирма угощали меня отличным муссом, сделанным из кваса, который нам давали как средство от цынги, учили содержать в порядке вещи, и к Рождеству, когда немки делали друг другу подарки, они и мне дарили всякие вещицы: пестрого клоуна для иголок и ниток (долго я его хранила, но он совсем истрепался и в Израиль не попал), мешочек для ложки. Когда разнесся слух, что их должны освободить, Лена и Ирма подарили мне свои блузки. Но их еще долго после этого не отправляли. В Лениной блузке я в 56-м году снялась для своего первого после освобождения паспорта.

Ирма была очень хорошенькой, с наивным взглядом бархатных глаз. Одного не могла простить Лена своей подруге — у той был на родине роман с советским полковником. Ради нее он оставил семью, они решили вместе бежать в Западную зону, чтобы там пожениться. Он перебрался первый. Она ждала его звонка, но позвонил чей-то чужой голос, и она решила, что это — провокация, и осталась дома. Ее арестовали. Не дождавшись ее, полковник вернулся и пошел к ней, и его арестовали тоже. Больше она о нем ничего не знала и часто плакала, боясь, что его нет в живых.

Бывало, что я разговаривала с немками о фашизме. Могу констатировать, что немки — наименее зараженный юдофобством лагерный элемент. То соображение, что они, может

быть, скрывали свои чувства, я не беру в расчет. Была у меня возможность убедиться, что это люди меньше всего скрывают. Однако помню рассуждение одной немки, что Гитлер не зря был против евреев. Они захватили все места в Германии. А на мой вопрос — как им это удалось, она объяснила, что немцы ведь народ мягкий, добродушный, вот их и вытеснили отовсюду...

Дружила я еще на 49-й с одной молодой венгеркой Иринкой. Ее брат воевал против русских. Сама она участвовала в какой-то молодежной организации, их посадили вскоре после войны. Была она маленького роста, с круглым лицом и широко расставленными глазами. Ее поражало, что она может дружить с коммунисткой — такое у нее сложилось обо мне мнение, но не могу сказать, что ее взгляды на жизнь как-то в корне отличались от моих. Помню, как я излагала ей по дороге на работу свои представления о бессмертии души. Я говорила (и воображала, что это очень оригинальная мысль), что бессмертие человека — в памяти о нем, о его добрых делах, и этого вполне достаточно. Она радовалась, что мы говорим о таких умных вещах, и читала мне стихи Петефи о том, как хорошо погибнуть на поле боя за родину. Она сидела уже 6 лет, в лагере не упускала возможности научиться чему-нибудь дельному. Ее русский язык был безупречен, и она очень любила Пушкина. С 49-й колонны ее отправили на этап. Мы изредка обменивались записками через других заключенных, которых отправляли с колонны на колонну. Перед отъездом на свободу вместе с другими иностранцами она написала письмо мне и еще одной москвичке Маше\*, которое кончалось словами: "Прощайте, никогда не забываемые, дорогие русские!" Вот это письмо передо мной, среди других лагерных реликвий.

\* Москвичка Маша сидела "за плен". Когда началась война, она училась в 10-м классе. Она попросилась на фронт и стала прославленной десантницей — в лагере была женщина, которая слышала на фронте о ее подвигах. Маша попала в плен. В немецком лагере она встретила чеха, и после войны они поженились. Она осталась в Чехословакии, где ее и арестовали. Следователь ей на допросах говорил: "Не хотели быть Зоей Космодемьянской и погибнуть — теперь сидите". Маше повезло в лагере — она стала сапожницей.

Однажды Иринка вспоминала, как куда-то гнали евреев, а они с братом стояли и смотрели. А потом она стояла и смотрела, как гнали ее брата, и глубоко чувствовала закономерность происходящего. Она не сказала мне, в чем была вина ее брата, а я не спрашивала.

С принятием судьбы своей и своих близких как закономерности я встретилась и со стороны знакомых немок. Это не мешало им ненавидеть своих теперешних тюремщиков.

Я тоже чувствовала, что в моей судьбе, в том, что я нахожусь здесь, есть своя закономерность, связанная с судьбой моих родителей, активных участников революции. Они сами давно освободились от заблуждений прошлого. Но я много думала о том, как становятся революционерами, какие силы толкают на этот путь, и мое осуждение этого пути не может быть безоговорочным.

Это принятие своей судьбы как закономерности — не то же, что осознание возмездия за грехи отцов, своего класса или народа. Я признавала и признаю только личную ответственность за свои поступки. Я не считаю себя причастной к трагедии, которая произошла в России. Когда Вера говорила, что ей стыдно здесь, в лагере, быть русской, так как "мой народ угнетает другие народы", — мне это было непонятно. И позже я спокойно ездила в Прибалтику, чувствуя себя там гостем, а не оккупантом. Если бы на меня там кто-нибудь косо посмотрел, я бы объяснила, почему не надо ко мне испытывать вражды.

Я даже подозреваю, что это упомянутое чувство вины — не многого стоит. Оно абстрактно, такую вину нельзя искупить, в ней бесплодно каяться.

На 20-й колонне я дружила еще с одной немкой, Урзулой. На эту дружбу с беспокойством смотрели другие мои подруги и знакомые. Лена печально констатировала, что ее соплеменница "швайн". Дело в том, что Урзула была из тех, кого в лагере называли по-разному — от смешливого "оно" до по-блатному безжалостного "кобёл". Литературно-научное слово "лесбиянка" не было популярно. Часто такие женщины

ны ходили в брюках, коротко стриглись, желая походить на мужчин. Особенно много их было среди блатных, на втором месте шли немки, бывали они и среди нашей интеллигенции. Украинки и, конечно, религиозные были меньше других подвержены всякому моральному разложению, часть их горела идеей, а крестьянки и вовсе были неуязвимы для всякой лагерной заразы — доноительства, воровства, сожительства с начальством и, наконец, лесбиянства.

Среди религиозных случалось наблюдать проявления экзальтированной дружбы. Но, как видно, "сублимация" была так сильна, что уберегала эту дружбу от перехода за грань.

Откровенно вели себя блатные. Явление это запечатлено в их фольклоре. Известна поговорка: "Попробуешь пальчика, не захочешь мальчика". Впрочем, говорят, что, попав в нормальные условия, большинство зараженных этим пороком быстро от него избавлялось. Помню частушку, которую под гитару пела одна блатная:

**Ой, спасибо Сталину,  
Сделал с меня барыню —  
И корова я, и бык,  
Я и баба, и мужик.**

Помню — на слюде во время работы одна молоденькая блатная эпическим тоном рассказывала: "Я была тогда девушкой. С мужиками не жила, только с бабами".

Но и среди них, совсем пропащих, можно было встретить большую самоотверженность, связанную с этой "дружбой". Они были способны, чтобы не допустить неизбежной в лагере разлуки, сделать себе "мастырку" — искусственную болячку, рану. Помню смешную маленькую блатную Зайцеву, которая избежала этапа с помощью грифеля от химического карандаша и победоносно ходила по зоне с фиолетовыми глазами. Одна блатная умерла, пустив себе мыло в вену.

В интеллигентной среде все, естественно, было скрыто, завуалировано, двусмысленно. Довольно редко открыто признавались в пороке — но и это бывало. Мне говорила

Тамара, из семьи русских эмигрантов, влюбленная в красивую эстонку Ванду: "Я была два раза замужем, но только от Ванды я хотела бы иметь ребенка". Тамара страшно ревновала свою красотку к известной разлучнице Елене, не то чешке, не то чешской еврейке. Елена была очень знаменита на трассе. Из ее жертв помню художницу-литовку, хрупкую блондинку, которая обменивалась с Еленой любовными письмами, украшенными рисунками. Рисунки изображали две парящие в воздухе женские фигуры, обвитые черной змеей. Письма эти Елена показывала с гордостью, наверное, не мне одной.

И вот Ванду отправляют вместе с нами и с Еленой на этап. Бедная Тамара, вцепившись в решетку, разделяющую нас, смотрит, как Ванда любезничает с Еленой. Потом Ванда с Еленой уехали дальше, а мы через несколько месяцев вернулись на 20-ю. Тамара жадно расспрашивала меня о Ванде. Я сказала ей, что Ванда подала просьбу о помиловании. Тамара была в отчаянии — и от ревности, и оттого, что Ванда сделала такой политически-компрометирующий шаг. "Как я покажу ее своим родителям, когда она так низко пала?" Тамара когда-то была способной журналисткой, политические убеждения ее были бескомпромиссны. Но все пожрала страсть к этой девице.

Не одна Тамара мне исповедовалась. Почему? Может быть, потому, что я никого не осуждала. Не знаю, есть ли благо в таком понимании, но я поняла, что от добродетели до греха — только шаг и грани размыты. Я не только не могла бросить камня в несчастных, обездоленных женщин, но осмеливалась считать, что эта убогая, презренная страсть — тоже есть любовь.

Немка Урзула была на год старше меня. Выросла она при Гитлере, так же естественно была в гитлер-югенд, как я — в пионерах. Она рассказывала, что в гитлер-югенд было очень интересно. У нее даже была медаль за мужество, проявленное при тушении пожара.

Она говорила, что ее отец, начальник полиции в городке под Берлином, всю войну прятал у себя дома еврейскую семью, рассказывала мне содержание трогательных после-

военных фильмов, где героинями были прелестные еврейки, их спасали благородные немцы, учила меня петь легкомысленные немецкие песни и заливалась слезами, вспоминая своего жениха. Высокого роста, растолстевшая, с очаровательным лицом и ярко-синими глазами, она была добродушной, веселой и, наверное, совсем пустой. Не то что о Гейне, она о Шекспире ничего не слышала.

Лена забила тревогу, Вера призвала меня и потребовала прекратить эту сомнительную дружбу, угрожая, в противном случае, поссориться со мной навсегда. Услышав о такой угрозе, Урзула с горечью согласилась, что это справедливо, и призналась, что все, что о ней говорят, — правда. Я все-таки попыталась некоторое время противиться общественному мнению, но Вера добилась, чтобы меня перевели в другую бригаду, а вскоре Урзулу, вместе со всеми иностранцами, отправили куда-то, как выяснилось, на свободу.

Перед этим им выдали одинаковые синие сатиновые платья с цветочками и желтыми воротниками и ботинки — по ноге, новые (обычная наша обувь была огромной, приходилось наворачивать портянки. Портянки давали белые, прекрасные, из мягкой фланели, их обычно не использовали по назначению, а шили из них куртки, брюки и капюшоны. Готовые изделия удавалось иногда покрасить, и выглядели они очень нарядно, особенно в первое время).

На прощание она написала мне сентиментальные стихи. Больше я о ней ничего не слышала. Набравшись блатного фольклора, она часто повторяла: "Я девшенка совсем молодая, а душе моей тысяща лет". Надеюсь, все у нее в порядке. Расставаясь, я выразила надежду, что получу от нее когда-нибудь фотографию, где она будет изображена в подвенечном платье, похудевшая, вместе со своим Гюнтером и кучей детей. Она, засмеявшись, ответила, что дети и подвенечное платье — это неприличное сочетание.

На нарах, где располагался каждый из нас, была прикреплена бирка с указанием номера, фамилии и имени, статей кодекса, срока и даты конца срока. Я оторвала бирку Урзулы и долго ее хранила.

Пыталась я потом сочинить стихи, в которых были такие строчки:

**Между мной и тобой стало черной стеной  
Безнадежное слово "порок".**

Рифмой должно было быть: "километры дорог", но ничего не получалось. И довольно скоро я поняла, что эта история закончилась для меня самым благополучным образом.

### *23-я колонна*

Зимой 1954 года нас привезли на 23-ю колонну. Там я пробыла с перерывами два года. Зимой мы работали на слюде, а летом и осенью нас возили то на какое-нибудь предприятие, временно нуждающееся в рабочей силе, то на сельхоз. На сельхозе лучше кормили, но работа была довольно тяжелая. И что удивительно — ведь нас, заключенных, всегда было много, однако копать картошку, например, нас привозили из года в год слишком поздно, когда уже выпадал снег. Из-под снега добывать картошку было трудно, много ее так и осталось в земле. Собранная в "бурты", она долго лежала в поле, мерзла и гнила и опять покрывалась снегом. Понемногу мы привыкали относиться к этому с безразличием рабов, но поначалу было жаль.

Как яркий эпизод вспоминаю жизнь в 1954 году на Тарее, летней командировке, куда нас привезли строить школу. Удивительная получилась школа — кто ее так спланировал?— окна выходили на север, и даже днем там было темно. Нас поселили в железнодорожных вагонах и водили каждый день за несколько километров на строительство. Я работала на подсобных работах — таскала с напарницей на носилках камни для фундамента, разводила цементный раствор, потом шпаклевала стены. Было — один день тяжело, на второй — полегче. После переполненных барачков жить в вагонах было приятно. Мы поселились втроем — Вера, молодая финка Хельми и я. За что сидела Хельми — я не помню. На 23-й

была еще одна финка из Ленинграда, Ольга, с печальной и романтической судьбой. Во время войны она оказалась в Финляндии. Там, когда война кончилась, она встретилась с советским офицером-моряком. Они решили пожениться, но начальство моряка не позволяло ему заключить этот компрометирующий брак. Он приехал хлопотать о разрешении и вскоре вызвал ее с матерью в Ленинград. Когда они приехали, оказалось, что моряк женился на другой, а Ольгу скоро арестовали.

Мне памятна ужасная ссора с Верой на почве отношения к "собственности". Я получила замечательную посылку, там была пятикилограммовая банка клубничного конфитюра — небывалая роскошь в лагере, халва и прочие прекрасные вещи. Так как мы "вместе кушали" — специфическое лагерное выражение, означающее высшую ступень дружбы,— я считала естественным, что посылка принадлежит нам троим, и мне, самой молодой, не подобает по своему почину угощать посторонних. Вере же, оказывается, кусок в горло не шел, поскольку прочие наши собратья были этого лишены (кроме тех, кто тоже получал посылки, а это было вообще нечасто в тогдашнем лагере. Посылки разрешалось получать неограниченно, но за долгие годы обычно рвались семейные связи, родные нас забывали). И через несколько недель нашей совместной жизни Вера высказала в самых резких выражениях, как ее возмущает мой эгоизм. Мне было страшно обидно. Не могла же я сказать ей, что мне случалось раздавать свое добро вполне бескорыстно. Я только горько рыдала. Я попыталась уйти в другой вагон, но Вера меня непустила, однако своих жестоких слов назад не взяла. Больше мы об этом не говорили, и мне так и не удалось никогда оправдаться. Вера потом смеялась, что я, как Мазепа, не забываю "ни единой обиды". Так оно и есть, наверное.

Оттуда, с Тареи, был этап, мы не знали куда. Мы должны были в него попасть, но в последний момент нас оставили. Этап, оказывается, ехал в Потьму, где была моя мать.

С Верой мы вскоре расстались, после возвращения на 23-ю. Она уехала в Мариинские лагеря, и мы встретились только на воле, в 1956 году. Нашей дружбе предстояло еще много

испытаний. То была другая жизнь, другие испытания. 5-го сентября 1973 года она проводила нас в Шереметьевский аэропорт, и с той, всем известной галереи я увидела ее в последний раз.

Большинство лагерного населения были западные украинки, в основном крестьянки. У некоторых были родственники "у лиси", другие сидели за то, что один раз накормили пришедших в деревню партизан. Рассказывали, что иногда и сотрудники МГБ приходили под видом бендеровцев и требовали их кормить, а потом всю семью забирали. Эта "серая масса", как принято было их называть, оставила по себе ярчайшее воспоминание. По всем лагерям звенели их песни. Пели в бараках, пели на работе, пели всегда хором, на несколько голосов. Эпические песни о казацкой славе, тоскливые — о неволе, о покинутой семье и бендеровские — всегда трагические, о гибели в неравной борьбе.

В Рождество 1954 года начальство не препятствовало традиционным представлениям — ходили по баракам и разыгрывали историю рождения Христа. Гонения на песню я не видела никогда. Начальство, как видно, предпочитало не замечать. За бендеровские песни на воле давали по 25 лет, поэтому их пели тихонько. Я попросила записать для меня одну такую особенно замечательную песню, и мне было велено тут же уничтожить запись.

Вот эта песня:

**Спіть, хлопці, спіть, спіть, хлопці, спіть.  
Про долю-волю тихо спіть,  
Про долю-волю вітчизни,  
Чи ж можуть бути краще сни?**

**За рідний край, за край святий  
Ви віддали вік молодий,  
Ви віддали юнацькі сни,  
Вишневий цвіт, життя весни.**

**Летіли ви, мов ті орли,  
Ні мамін плач, ні крик сестри  
Не зупинили вас на мить:  
Цить, мамою цить, цить, сестро, цить.**

І ви пішли в щасливу путь,  
 І ви пішли, щоб не вернуть.  
 Червоний штик, кривавий шлях?  
 Стоять могили по полях.

І прийде день, великий день.  
 День радощі і день пісень,  
 І загуде свободи дзвін.  
 До вас ми прийдем на поклін.

І там де ви лягли кістьми.  
 Ми ляжем вільними грудьми.  
 На ваших тихих могилах  
 Замає наш побідний стяг.

Я влюблена была в эти песни, знала их бесчисленно. Потом на воле пела их своим друзьям, но не могла, конечно, передать их очарования. Их надо петь хором — это народное действо. Я слышала однажды пластинку с записями колядок в артистическом исполнении, но это было совсем не то. Не было безыскусности и настоящей торжественности. Даже на воле я помнила, что есть песни запретные, и долго не позволяла записывать некоторые из них на пленку. Но теперь я рада, что далеко в Москве есть несколько записей с моим слабым, раздражительным пением — память москвичам обо мне и о замечательном явлении — украинской песне.

Через год после событий в Кенгире украинцы устроили в одном из барачков панихиду по жертвам. Тогда пели две песни:

Коли ви вмерали.  
 Вам дзвони не грали,  
 Ніхто не заплакав за вами,

Лиш в чистому полі  
 Ревіли гармати.  
 Та зорі вмивались сльозами.

Як вас хоронили  
 У темну могилу,  
 Від крові земля почорніла,

Лиш тучами круки  
 Літали над полем.  
 Та бурю бітва греміла.

На ваших могилах  
 Хрести похилились,  
 Калина зігнулась до долу.

Сиють, хлопці-соколи,  
 Ми востремо зорою,  
 Та ждемо на поклик до бою.

Вторая песня, которую пели на панихиде:

Заквітчали Дівчатоньки  
 Стрелецьку могилу,  
 Замість мали завітчати  
 Стрільцьку милу.

Невисокий хрест берези  
 Заплели віночком,  
 Замість мали заплетати  
 Косу барвіночком.

І пісочком посипали  
 Стежечку довокола,  
 Замість мали застилати  
 Рушник до престолу.

Похилилися берези  
 Наліво, направо,  
 А між віття вітер грає  
 Про стрільцьку славу.

Заключенные пели песни и молились, стоя на коленях. Я тоже была на панихиде, пела со всеми, но не молилась. Как и я, немного в стороне от других, стояла молодая украинка Нюся. Она была в Кенгире, там погибли ее подруги. Но молиться она не могла — потеряла веру. Это с ней произошло после того, как в лагере умер ее отец. Она когда-то училась в университете во Львове, потом сама стала учительницей. Обвиняли ее в том, что она была членом молодежной националистической организации.

Всего лишь одно поколение отделяло таких, как Нюся, украинских интеллигентов, от самой гущи народной стихии, но она ощущала отрыв от этой стихии, ощущала это болезненно, катастрофически. Причина этого была не только в ее неверии, но и в том, что, как она мне объясняла, народ в массе не очень понимал целей их движения. Народу было важно, что "за Польши" не было "колхозов", и потому было хорошо.

Мы лежали с Нюсей на нарах, говорили и спорили без конца. Наши отцы могли воевать друг с другом когда-то, во время Гражданской войны, а мы были какое-то время неразлучны. Я не пыталась вникать — должна ли Украина быть "самостийной", но трагизм их неравной, обреченной борьбы с властью поражал воображение.

До ареста я ничего не знала об украинском движении. Прожив несколько месяцев на Украине, в Черновицах, я слышала там о каких-то бендеровцах, которые будто бы убивают невинных людей, в особенности евреев. Встретясь с украинцами в лагере, я сразу же поняла, что все, что я слышала о бендеровцах раньше, — обычная ложь и клевета.

Мы обе с Нюсей не были сильны в истории. Когда я ее спрашивала о прошлом, пытаюсь понять — в чем причина старинной вражды между нашими народами, которая только теперь перестала быть актуальной — она затруднялась объяснить мне. И, бывало, мы замолкали и отворачивались друг от друга с тяжелым чувством, но не надолго.

Я называла ее гайдамачкой, ее это радовало и смущало. Она мне рассказывала, будто Иван Франко высказался однажды на шевченковском торжестве, что Шевченко был бы еще более велик, если не написал бы "Гайдамаков". Я сообщила об этом в письме к моему отцу, и он ответил, что такое мнение хорошо характеризует мою подругу, но едва ли оно типично...

Через несколько лет, в Москве, я купила в магазине украинской книги нарядное издание "Кобзаря" и послала его Нюсе — как некий символ и итог наших разговоров.

Прошлое не забыто и не отброшено — ни историческое

прошлое наших народов, ни наше собственное общее прошлое в Тайшетских лагерях.

Мы не долго были вместе, Нюсю отправили в больницу, у нее был костный туберкулез. Перед ее отъездом у нас произошел очень странный разрыв. Я как-то сказала ей, что способна солгать, притвориться, чтобы не обидеть человека. И она решила, что не имеет морального права дружить со мной. Поэтому она уехала, не попрощавшись, но потом из больницы прислала покаянное письмо, проклиная свой фанатизм. До самого моего отъезда в Москву на переследствие мы продолжали слезную переписку, мечтали о встрече. Потом я освободилась, а Нюся уехала в ссылку в Якутию, где жили ее мать и сестра, тоже после лагеря. Там она вышла замуж за парня с Восточной Украины, отсидевшего 12 лет, тоже за национализм. С ним она встретилась в Кенгире, во время восстания. Через несколько лет им разрешили вернуться на Украину. Они ехали через Москву и познакомились с моей семьей. В последующие годы мы изредка переписывались — не хотели терять друг друга из виду. Мы мечтали встретиться и наговориться всласть. Перед отъездом в Израиль я написала им и попрощалась. И вдруг, в разгар последних сборов, появляется Нюся с мужем и ребенком. Приехали на два дня, чтобы попрощаться по-людски. Получив мое письмо, они тут же побежали на станцию, но билетов на поезд не было. Они ходили от вагона к вагону, показывали проводникам письмо — люди уезжают насовсем в Израиль — надо повидаться! И им сказали: "Пойдите вон в тот вагон, там проводник еврей, он вас устроит". Так и получилось.

До побачення, дороги друзи! Но какое побачення? Когда?

Пользуюсь случаем, чтобы вспомнить безвестную, может быть, жертву советских застенков. Украинки, приехавшие из Кенгира на нашу трассу, прочитали мне стихи молодого парня, который сидел в Кенгирской тюрьме в ожидании расстрела. Я ничего о нем не знаю и стихи помню не до конца:

**Боже, ти бачиш страждання и муки.  
Хай діється воля Твоя,  
До тебе я зношу з кайданами руки  
І шлю ці останні слова:**

**Прости, мене, Боже, що були хвилини  
Зневіри в моєму житті,  
Що часто не бачив ті, чисті перлини,  
Що криють завіти Твої.**

**Що часто ходив я один манівцями,  
Шукаючи інших доріг,  
Що часто чернів я своїми устами  
Все чисте і біле, як сніг.**

.....  
**Дай волю друзям, як і ще остались,  
Друзям, яких щиро любив...**

.....  
**А ты, моя мати, що вмерла в Сібирі  
За те, за що нині я тут,  
Скрипи моє серце і душу у вірі —  
Я йду, де немає отрут.**

.....

С весны 1954 года началась либерализация. Нам велели отпороть номера. Было даже жаль расставаться с этим выразительным символом нашего рабского положения. Нас соединили с уголовниками — наконец-то мы стали почти не хуже их. Сняли с окон решетки, перестали запирают на ночь бараки. Исчезла неременная принадлежность барака — параша, и можно было оценить плюсы и минусы этого явления, особенно в зимнее время.

И самое главное — была разрешена неограниченная переписка, сначала с волей, а потом и между лагерями. Для меня началась новая жизнь. Я связалась со своими родите-

лями, о которых ничего не знала с самого ареста. До этого я очень редко получала письма от бабушки, о родителях она ничего не писала, ей казалось, что так поступать — благо-разумнее, но я чувствовала полный разрыв с семьей. И вот все изменилось. Сначала я получила письмо от Стеллы, лагерной подруги моей матери. Она была дочерью крупного партийного работника, близкого к Хрущеву и расстрелянного в 1937 году. Придя к власти, Хрущев сразу же освободил Стеллу, ее мать, сестру И. Э. Якира и его сына Петра. Стелла, вырвавшись на свободу, сделала все, чтобы наша разбросанная семья соединилась, хотя бы посредством переписки. Теперь это стало самым главным. Уже не так важно — какая работа, когда, придя домой, часто находишь несколько конвертов с письмами. Власти потеряли контроль над перепиской — цензура не справлялась. С воли нам писали подруги Стеллы — чудесные девушки, не жалевшие сил, чтобы скрасить нашу жизнь. Мы — родители и я — стали получать замечательные посылки. Нам присылали книги. Я получила Пушкина, Блока, учебник английского языка. И от матери из Потьмы пришла посылка. Там была связанная ею кофточка и ночная рубашка — предмет, довольно странный в лагере, но мать понимала, как это приятно — владеть такой роскошной вещью. Лежать на нарах в ночной рубашке и читать Блока — это была жизнь! В этой посылке были также шерстяные носки, связанные Настей, которая, оказывается, приехала с нашей трассы в Мордовию и была теперь вместе с моей матерью. Стелла писала больше всех — иногда по несколько писем в неделю. Как удавалось ей выкраивать для этого время, как хватало души в первый год на свободе — это было трудно понять. Получив какое-то жилье, она забрала к себе мою младшую сестру и кормила ее на свой жалкий заработок. Писем от Стеллы было так много, что я их частично уничтожила. Зато почти все другие сохранились — от родителей, от сестры, от одноделок, Сусанны и Тамары, которые тоже оказались с матерью. Мать тоже хранила письма — с самого первого, которое она получила от меня, приехав в лагерь, когда я еще была на свободе. Только отец почему-то все уничтожил. Лагерные письма мы, освободившись, привезли с собой.

Все годы они хранились у нас в доме, но мы никогда их не перечитывали — все не было подходящего момента. Перед моим отъездом в Израиль я много часов перебирала эти драгоценные для нас страницы, но углубиться в чтение не было возможности, я только привела их в порядок, сложила по адресатам. Они остались в Москве дожидаться оказии. Хотя все они прошли цензуру, везти их обычным порядком через таможеню было невозможно — какой чиновник стал бы их читать!

Либерализация выражалась и в усилении "воспитательной работы" среди нас. Положительными были попытки организовать всякие курсы — счетоводов, переплетчиков. Я ценила возможность чему-нибудь научиться, но все эти мероприятия были недолговечны. Настоящим бичом были политзанятия. И времени было жаль, а главное, не хотелось участвовать в комедии. Как только можно, я избегала всего, связанного с перевоспитанием. Партийные дамы напрасно пытались на меня повлиять. К подобному влиянию в лагере я проявила наибольшую устойчивость. Естественно, что меня не интересовали сообщения о предстоящем XX съезде партии. Думал ли кто-нибудь из лагерников, какое значение он будет иметь в нашей жизни?

-----

Моя подруга Галя очень переживала, что в то время, как наши сверстники учатся в институтах, мы тут прозябаем. Ко дню ее рождения в 1954 году я написала стихи, смысл которых был в том, что для нас это время не проходит зря, что мы учимся самым важным наукам.

Чему же научил меня лагерь?

Когда закрылась за мной впервые дверь тюремной камеры, я отчетливо почувствовала: это конец. Конец всей прошлой жизни, которую я очень любила, как я поняла в этот момент. До самого суда я ощущала происходящее как личную трагедию и жалела себя, хотя по молодости я не могла вполне осознать, что мне предстоит — воображения не хвата-

ло. Да и невозможно в 18-19 лет по-настоящему ужаснуться убегающему потоку времени.

На суде я впервые осознала, что я — не одна, а смертный приговор ребятам, десять двадцатипятилетних сроков и три десятилетних — приговор этот сразу отодвинул на задний план мою личную судьбу.

То, что я увидела в лагере — миллионы погубленных жизней, — еще больше укрепляло в ощущении почти безразличия к тому, что со мной будет. Конечно, физически я чувствовала все тяготы лагерной жизни. В этом смысле я лишена была всякого оптимизма. Труд был непосилен, и я его ненавидела. Единственную возможность избавиться от него видела в открытом отказе, за которым должна была последовать "закрытка" — тюремное заключение. Я еще не была на это способна, пока хватало сил терпеть.

Арестант мечтает о свободе. Молодая, красивая белоруска Тася запомнилась мне в своей неумной тоске по воле. Женщины разглядывали себя в зеркало и ужасались каждой новой морщине, мазали лицо льняным маслом, вместо того чтобы его съесть. Их было жалко, но я не могла чувствовать так, как они. Я не мечтала о воле. Не помышляла о смерти, но о жизни не сожалела. Я не верила, что когда-нибудь освобожусь, не верила ни в возможность чуда, как религиозные женщины, ни в амнистию. "Амисия" — говорили блатные. Слухи о возможной амнистии постоянно ходили в лагере — это называлось парашей. Бывали реальные парашаи — например, о предстоящем этапе. А амнистия — это постоянно создаваемый, но не осуществляющийся миф.

Одно из самых больших зол в лагере — невозможность побыть одной, постоянный шум. Я от этого почти не страдала — сказывалось пережитое в одиночке. Ночью в бараке духота, особенно на верхних нарах. Но я слишком уставала и спала крепко. С либерализацией водворилось у нас постоянно орущее радио, и только к этому я не могла привыкнуть.

В лагере много больных, простуженных. По несколько раз в ночь встают к параше, а когда перестали запирают барак — бегут по холоду в уборную. У многих — недержание мочи. Не у всех одинаковые представления об опрятности,

особенно в убогих лагерных условиях. Носятся всякие неприятные запахи, и многие от этого страдают и ругаются. Я считала себя не вправе воротить нос и терпела, а позже появилось почти безразличие и к этому. Помню блатную по имени Ква-Ква, уродливую и грязную. Никто не хотел идти с ней рядом в пятерке, и я упражнялась в стойкости, хотя с ней даже поговорить было не о чем. Помню интеллигентную, но совсем, как видно, помешанную женщину, которая выражала свой протест тем, что никогда не мылась и не меняла одежды. Я узнала от нее много прекрасных стихов Гумилева.

Я уже писала о том, как относилась Вера к проблеме "собственности" в лагере. Она считала, что, получив посылку, надо все раздать. Я поступала непоследовательно. Иногда раздавала свое добро тем, кто не получал ничего. Случалось мне и в одиночку, по ночам, поедать печенье из посылки. Это считалось неприличным, но еще хуже казалось наслаждаться своим богатством на глазах у других, а раздать все, как Вера, мне было жаль. Но все это больше — из области психологии, так как посылки я получала очень редко, редко и возникала проблема такого рода.

В лагере много слабых и старых. Однажды с нашей колонны был этап инвалидов. У женщин всегда много имущества, мы берегли каждую тряпку, и часто ноша была непосильной, особенно для старых. Инвалидный барак был далеко от вахты. Увидев, как мучаются старухи, я помогла им перетаскивать их узлы. Несчастные не были избалованы участием молодых. Встретив кого-нибудь из работяг на узких мостках, положенных через грязь, они уступали дорогу, подчиняясь неписаному закону. Одна из старух, чей узел я бодро тащила к вахте, шла за мной и восхищенно бормотала: "Уж не сам ли это Христос?".

Я считала, что слабым следует помогать. Следующей ступенью была бы настоящая озабоченность судьбой каждого страждущего, но мне до этого было далеко.

Трудно не судить другого. Дашь носить раздетому свою вещь, а он ее загадит до невозможности. Выскажешь третьему лицу по этому поводу негодование и ославишь

человека. Так уж лучше промолчать, а так как это трудно — надо просто понять, что все это мелочи, что наше жалкое добро пусть пропадает пропадом, а перед тем пусть согреет побольше людей.

Я, увы, была восприимчива не только к прекрасному. Кроме песен — украинских, немецких, блатных — другим распространенным жанром в лагере было сквернословие. Ругались, конечно, блатные: с особым, вымученным вкусом изощрялась интеллигенция. Многие стойко держались, хотя вся обстановка весьма располагала. Вера как-то разразилась целой проповедью о недопустимости подобного разложения. Однажды меня страшно изводила бригадирша из блатных. Она придиралась, пока я не выпалила во всеуслышание популярное ругательство. Это произвело мгновенный эффект. Бригадирша замолкла, а конвоир стал меня стыдить — такая молодая и ругаешься. Об этом немедленно донесли Вере, и она долго не разговаривала со мной.

Постепенно режим все больше слабел. На сельхозе даже нам, двадцатипятилетникам, можно было на большие расстояния ходить без конвоя. Мне очень мало известно о случаях побегов. Однажды бежала блатная с соседней колонны, и ее вскоре поймали. Когда я только приехала на трассу, я услышала о побеге группы мужчин с Тайшетской пересылки. Подробностей мы не знали. Один из бежавших и вскоре пойманных был Виктор Красин, с которым я познакомилась через несколько лет в Москве.

Я никогда всерьез не помышляла о побеге. Как правило, двадцатипятилетников строже охраняли, считая, что мы, которым нечего терять, скорее решимся на побег. Но мы знали, как страшно избивали пойманных, а главное — бежать было абсолютно некуда. Всегда было такое ощущение, что окружающее население — наши враги. Дети кричали нам: "Фашисты!" — когда мы строем шли по улице — как это было в городе Заярске, где мы работали летом 1955 года на кирпичном заводе. Умом я понимала, что без документов жить невозможно даже недолгое время, когда на твою поимку устремляются солдаты с собаками. Но в глубине души было

сознание, что лагерь — это и есть то место, где мне следует находиться.

Поэтому, когда в 1955 году стали кое-кого освобождать по пересмотру дела, у меня не пробудилось никаких надежд. Я рассчитывала только, что удастся увидеться с отцом. Он к тому времени был сактирован и жил в Караганде в инвалидном доме. Отец хлопотал о свидании — тогда появилась такая возможность. Все чаще приезжали к нашим женщинам родные. Приехал отец моей одноделки Иды. С Идой я встретилась во время этапа летом 1955 года с 23-й слюдяной колонны в Заярск, город возле реки Ангары. Ида за год до этого приехала к нам на трассу с этапом из Кенгира.

На кирпичном заводе работа была тяжелая, иногда в ночную смену. Я стояла возле лебедки — с помощью этой машины поднимали глину для кирпичей вверх из карьера. Я заглядывалась на синюю, широкую Ангару, над которой нависал мост — и лебедка срывалась вниз вместе с грузом. С этой работы меня прогнали. Потом грузила кирпичи и подносила дрова к огромным печам для обжига.

Я все лето надеялась на встречу с отцом. Он писал, что разрешение на свидание получил, но у него украли деньги на дорогу. Потом деньги ему снова прислал брат, но опять не давали разрешения. У нас была большая переписка. Мне даже удалось написать ему подробно о своем деле под видом жалобы в Верховный Совет. В таком виде письмо могло дойти в этот период, когда цензура не справлялась, и дошло. Вслед за этим толстым письмом я послала ему открытку, в которой предупреждала, что это — не настоящая просьба о пересмотре, что это — только для него. Так он и понял. Ни я, ни мои родители не обращались к властям с такой просьбой. Другие это сделали за нас. Родные моих однодельцев, как только повеяло новым воздухом, стали непрерывно писать, добиваясь пересмотра дела.

## 5. ДОРОГА НАЗАД

В начале 1956 года нас с Идой вызвали на этап. Была зима, меня прогнали со слюды за плохую производительность, и начальник фабрики сказал, что мне не видать больше этой работы. С тоской думала я, что придется всю зиму провести на морозе. Я пилила дрова в хоззоне. Напарницей моей одно время была Ольга Лядская, известный персонаж "Молодой гвардии", тоже приехавшая из Кенгира. Судьба этой женщины в лагере была чрезвычайно тяжелой. Она досиживала обычную десятку, как многие, получившие срок за оккупацию, когда вышел роман Фадеева. Я проходила в школе, что положено, об этой книге, а живой человек расплачивался за прихоти фантазии автора. Ей дали новый срок. В лагере ее травил уголовницы, конвоиры обещали пристрелить. Смелая украинка Оксана менялась с ней бушлатом, чтобы отвлечь внимание от Ольги. Любопытно, почему они ее так преследовали? Ведь они видели столько женщин, осужденных на огромные сроки. Казалось бы, естественно предположить, что кому-нибудь давали и за дело.

Что в действительности произошло с Ольгой, я не знаю. Она была скрытной, много горечи в ней накопилось. Факт, что в 1956 году она вернулась в свой родной Краснодар, говорит сам за себя. Правда, и дома жизни не было, пришлось уехать.

Встретили мы 1956 год и не знали, что это последний наш Новый год в лагере. И этап из Тайшета через пересылки в Москву — был обычным этапом, со всеми его прелестями. Правда, несколько часов, от Братска до Тайшета, нас двоих почему-то везли в обыкновенном вагоне. Рядом сидел конвоир, а мы делали вид, что мы сами по себе. В Тайшете мы провели несколько дней. Встретили мы там двух знакомых женщин, из которых одна работала врачом на 23-й. Никогда я не видела такой красавицы. Она ходила по зоне, как существо из другого мира, в каком-то невероятном полущубке. За что она сидела, что пережила — не знаю, каким была врачом, мне тоже неизвестно. Однажды я видела ее в бане. Только успела заметить, что и в таком виде она отли-

чалась от толпы лагерниц — загорелых, жилистых, каких-то корявых. Вдруг вижу, что банщица угодливо ставит ей под ноги лишнюю шайку с водой, чтобы не оскверняла себя, как прочие, стоя на залитом полу. Сразу я почувствовала к ней неприязнь, как будто эта Марина — мой классовый враг. И когда недавно мне передали от нее привет, прибавив, что она и теперь замечательно красива, я вспомнила свою давнишнюю неприязнь. Тогда в Тайшете она шепталась со своей подругой, которая вместе с ней ехала с больничной колонны на свободу. У них были свои, неведомые нам интересы, до нас долетали мужские имена. На нас они смотрели доброжелательно, но свысока.

Дальше все пошло знакомое, этапы, зак-вагоны, пересылки. Я лежала на верхней полке и читала "Историю моего современника", которую по моей просьбе мне прислали из Москвы. Очень меня волновало то место, где Короленко писал о своем отказе от присяги на верность Александру III. Многие революционеры считали, что из тактических соображений не следует отказываться от такой формальности, а Короленко, который не был даже настоящим революционером и попал в ссылку почти случайно, не мог так поступить. В вагоне раздавались обычные просьбы — выпустить в уборную. Особенно доставалось мужчинам. Конвоир объявил, что пустит того, кто побежит голым мимо женского купе. Такой отчаянный нашелся из блатных, и было у нас много визгу и смеха.

Задержались на несколько дней на Кировской пересылке. Там было много блатных. Они пели хриплыми голосами трогательные песни, играли в карты и бросали окурки с верхних нар на пол. Мы лежали на полу. Откуда-то появилась книга Золя "Страница любви". Я читала описания Парижа, как он выглядит из окна в разное время дня и года. А рядом лежала больная, что-то гнило, и белые черви ползали по полу, и стоял смрад. Впрочем, полы регулярно мыли.

Нас привезли в Москву, сначала — в знакомые Бутырки. Мы поняли, что нас скоро разлучат, и Ида дала мне на прощание 50 рублей, которые я исправно прокурила. В лагере я не втянулась в курение — денег не было, а теперь это было

большим развлечением. Отвезли нас на Лубянку и рассадили по одиночкам.

Но как изменилась тюрьма! Что это была за одиночка! Прежде всего принесли каталог книг. Я набросилась с жадностью. Сразу попросила "Андрея Кожухова" Степняка-Кравчинского, "Былое и думы", "Завещание" Мелье, Ибсена и многое другое, без ограничений. Днем можно было лежать, ночью — читать, покуривая, прямо на койке. Можно было писать и получать письма, и я получила несколько чудных писем от подруги Стеллы, Зины, незнакомой мне девушки, которая прислала мне в лагерь Блока. Это была другая жизнь, где тебя ждали, как ждут родных.

Я по-прежнему не надеялась на освобождение. Я думала, что должны только сократить срок в результате переследствия, и подала заявление следователю с просьбой отправить меня в Потьму, к матери, на такую милость можно было рассчитывать.

Меня ждало одно потрясение за другим. Мне дали двадцатиминутное свидание с бабушкой и сестрой, и я увидела свою сестру, 18-летнюю красавицу, с которой рассталась в 1949 году, когда она была ребенком. Она мне все пыталась сказать, что идет XX съезд, что-то говорила о культе личности и о том, что нас скоро освободят. Но я не хотела слушать ни о каких съездах, я жадно спрашивала, как она живет, а главное — любовалась ею. "Культе личности" — было нелепым словосочетанием, а свобода — я-то знала, что не видать мне свободы, и не могла научиться о ней мечтать. Сестра, прощаясь, положила мне в карман зеркало, почему-то я упомянула, что у меня нет зеркала, а ей это показалось невероятным. Когда меня обыскивали после свидания, и обнаружили его, я очень испугалась, что сестре больше не дадут свидания, и объясняла начальнику режима, что это нарушение произошло случайно.

Незадолго перед свиданием я выяснила, что в камере рядом со мной сидит Тамара. Мы стали с ней перестукиваться по ночам, и я сообщила ей о свидании и о "культе личности". Тамара сразу оценила, что это такое, и радостно забарабанила в стену. Она-то верила в свободу. Правда, у нее были

основания верить. Даже следователь намекал, что ее освободят. Я очень старалась объяснить ему, что ее арест — недоумение. Свобода Тамары превратилась в навязчивую идею, ведь она сидела за дружбу с нами, со мною.

И на этом переследствии мы вели себя глупо, повторяли все, как было. В это время можно было начисто от всего отказаться и все свалить на "неправильные методы следствия". Но это же сообразить надо было, что теперь другая эпоха, почувствовать надо было! Вот принесли огромную корзину — передача. Почему-то не хватает пачки "Зефира" (что это такое?) из приложенного перечня. А вот еще поразительное событие — открывается дверь камеры и входит ... Тамара! Не положено, оказывается, держать заключенных по одиночкам. Родные, которые обивали все пороги, указали на это обстоятельство, и начальство вынуждено, ввиду отсутствия в тюрьме других женщин (надо же!), соединить нас друг с другом. Тамара всегда вспоминала потом со смехом и притворной обидой, что я, увидев ее, сказала: "Теперь я "Бранда" не дочитаю". И уж точно не дочитала. Сколько было разговоров — разве передать?

Еще до воссоединения с Тамарой произошло событие, немислимое в прежние времена. На одном из допросов (было их немного, вел прокурор Терехов. Почему прокурор был следователем, это мне неизвестно) я попросила показать мне фотографию Жени в его деле. Я не спросила Терехова о судьбе Жени, уже было ясно, что его нет в живых. Терехову я обещала, что не устрою у него в кабинете сцены, посмотрю и все. Он еще колебался — моя "причуда" показала ему странной. Тогда я сказала: "Ведь вы не только следователь, но и человек". "Прежде всего человек", — решительно заявил он и вытащил из сейфа папку с делом Жени, и я несколько минут смотрела на знакомую фотографию и, как тогда, когда увидела ее в первый раз, подписывая 206-ю, поразились — как сделали в тюрьме такой прекрасный снимок, как будто важно им было оставить о нем эту память. Все в том же 1956 году они, по просьбе родителей Жени, отдали эту фотографию. Родители пересняли и подарили мне и Владику. Я смотрю на нее и не смею не смотреть.

После освобождения мы с Владиком, иногда с Идой, каждый год приходили к родителям Жени в день его рождения, 26 мая. Отец знал, конечно, что сын погиб, но мать продолжала ждать его возвращения, хотя все сроки прошли. Отец почему-то очень хотел, чтобы сына реабилитировали, просил меня начать ходатайство о новом пересмотре дела. Но я ни о чем не могла писать, и его желание мне было непонятно. Владик, однако, написал, его вызвали и сказали: "Освободили вас, скажите спасибо". Ясно, что реабилитировать они нас не могли в самые либеральные времена. Потом отец Жени умер, и мы продолжали ходить каждый год к матери. Чуть мы заговаривали о самых невинных, на наш взгляд, вещах, она испуганно твердила: "Тише, соседи услышат". А узнав, что некоторые едут в Израиль, не могла понять — как это можно покинуть нашу социалистическую родину? Визиты эти были для меня очень тягостны. Тяжело было думать — почему такой глупенькой женщине выпало такое безмерное горе? Теперь Владик будет ходить к ней без меня.

Итак, мы сидели с Тамарой вдвоем и все говорили, говорили. Она была в Мордовии вместе с моей мамой и другой одноделкой, Сусанной. Опять принесли передачу, и мы объелись жареной курицей так, что не могли видеть ее останков. И вдруг нас вызывают с вещами. Быстро опустошив банку сгущенки — как ее унести? — мы собрались. Ведут вниз, сажают в бокс. Спрашиваем у надзирательницы — что, в другую тюрьму? А она отвечает загадочно и странно: "Все плохое у вас позади". Тамара надеется на скорое освобождение и дарит мне свою телогрейку. Хотя у меня есть своя, совсем новая, но ничего, пригодится. Очень странно — дают мне два письма от отца — нераспечатанные. Что-то мелькнуло в сознании, но тут же подавлено. Потом вызывают к начальнику тюрьмы — сначала меня. Начальник спрашивает зачем-то: "Кто у вас есть в Москве?" "Сестра", — говорю. А он говорит: "Ну вот, — пойдете на свободу" — и протягивает мне справку об освобождении и просит расписаться. Я тупо расписываюсь и говорю: "Что за порядки у вас, неожиданно сажают, неожиданно выпускаете". А он возражает: "Ну, ареста вы должны были ожидать!" И еще любопытствует:

"Как, будете еще заниматься антисоветской деятельностью?" Я мало соображаю, но автоматически отвечаю "уклончиво": "Какая там деятельность!" Потом еще расписываюсь, что осведомлена о том, что дадут мне 3 года, если 1. Буду выполнять на воле просьбы, полученные от заключенных, и 2. Разглашу сведения о тюремно-лагерном режиме, (Когда, интересно, отменили этот ритуал?) Со справкой в руках опять иду в бокс и говорю Тамаре, как она считает, возмутительно-спокойным голосом: "На свободу, говорят!" "Ой-ой!" — стонет Тамара и идет к тому же начальнику, а потом нас ведут вверх по лестнице, а я все думаю, что не может быть, что на свободу, но шуток таких тоже ведь не бывает, и вот она — справка. А потом открывают дверь\*, и мы выходим на улицу и стоим, оглушенные, не понимая, что нам делать дальше. И никто не обращает внимания на двух странных особ в телогрейках и с мешками. Из тех же дверей выходит солдат и предлагает проводить нас до такси. Ведет через площадь, сажает в такси, и мы едем по московским улицам. Все необыкновенно красиво. Очень яркие платья женщин. 25-е апреля, чудесный весенний вечер. Мы восхищенно смотрим в окно.

И вот, в незнакомой мне квартире, адрес которой мне сообщила на свидании сестра и где она временно живет — это старые приятели моих родителей, — я весь вечер разглашаю тайны и смеюсь, что можно вообразить такое — не разглашать, восхищаюсь каждой мелочью в этой обыкновенной московской квартире, тому, что я ем яичницу — вилкой, примеряю вещи сестры — говорят, что мои совсем не годятся для этой новой жизни, — и в конце концов засыпаю, поверив, что я — на свободе, хотя еще долго мне будет казаться, что все это — временно, что скоро одумаются, посадят опять. И ночью снится лагерь, как когда-то, в первое время после ареста, еще долго снилась воля.

---

\*Большая деревянная дверь, каких несколько выходит на улицу Дзержинского из известного огромного дома, занимаемого МГБ.

## НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

**Рассказы Сергея Андреева, опубликованные в 9 номере нашего журнала, вызвали большой интерес у многих читателей. По их просьбе публикуем еще 2 рассказа, вывезенные из России друзьями покойного новосибирского писателя.**

*Сергей АНДРЕЕВ*

## НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОГОНЯЛОВА

— Чуть дороже, — сказал дон Румата высокомерно.

*А. и Б. Стругацкие,  
"Трудно быть богом".*

На банкете в Институте научных проблем, посвященном юбилею академика Б..., случайно оказался известный литературный критик Валентин Васильевич Догонялов. Своим остроумием и обаянием сумел он так расположить к себе все общество, что хозяева даже согласились показать ему то, что не показывали никому: машину времени, лишь недавно построенную и проходившую как раз испытания. Тут-то и случилась непоправимая беда: по совершенно невероятному стечению обстоятельств на глазах у остолбеневших физиков Догонялов провалился в прошлое.

К чести Валентина Васильевича следует сказать, что он не растерялся и, нажимая различные кнопки и ручки, сразу же попытался дать машине задний ход или хотя бы остано-

вить ее. Но машина не слушалась критика, цифры на счетчике неумолимо двигались назад. Все вокруг выло и звенело, и наконец, когда он повернул какую-то ручку, что-то оглушительно громыхнуло, его швырнуло об одну стенку, потом о другую, и сквозь антиполя и дивергенции Догонялов вылетел наружу.

Очнулся Валентин Васильевич в мокрой траве на краю свежей рытвины, оставленной, по-видимому, проклятой машиной. Он ощупал шишку на лбу, отряхнул лесной мусор с костюма и попытался было усомниться в реальности происшедшего. Однако упрямые факты требовали объяснений.

Когда он шел на банкет, был зимний вечер, а теперь стояло раннее утро. Институт находился в оживленном районе Москвы, а сейчас вокруг него шумел березовый лес. И, наконец, Догонялов совершенно явственно ощущал, что не пьян.

Таким образом, сомневаться не приходилось.

Он сел на пень и стал ждать, когда за ним приедут и ответят обратно на банкет, где еще столько осталось невыпитого, несказанного и несъеденного. Так просидел он до вечера, но никто не появился.

Когда солнце начало клониться к горизонту и сделалось холодно, Догонялов слез с пня и отправился искать людей. В темноте он заблудился, хотел вернуться на старое место, но не нашел его. Хотелось есть и курить; черные деревья скрипели под ветром, и звезды зловеще дрожали между их верхушками. Это была самая страшная ночь в жизни Валентина Васильевича. Наконец настало утро, и голодный, замерзший критик нашел дорогу, которая привела его на опушку леса.

Перед ним в утреннем тумане лежал город, и Догонялов без труда узнал Москву, точно такую, как видел он на картинке в каком-то журнале: "Москва, сороковые годы XIX века". Последняя робкая надежда, все еще таившаяся где-то в далеких закоулках голодной души, покинула Валентина Васильевича.

"Что же делать? — думал Догонялов, шагая по направлению к городу. — Один, в чужом страшном времени, без денег, без друзей, без паспорта и билета обратно!"

Он вспомнил, что где-то читал об одном человеке, вот так же, как он, понарошку, попавшем в Англию в еще более удаленное от своего время. Этот "кто-то" научил древних англичан строить паровозы, делать порох и даже сочинил для них Конституцию. Но Валентин Васильевич не умел ни строить паровозов, ни делать порох, ни сочинять конституций. Он вообще ничего не умел, кроме как писать критические статьи о молодых поэтах.

"Конечно, меня спасут. Не может же быть такого, чтобы у нас и вот так просто бросили человека погибать в беде! Наверняка за мной уже собирают экспедицию. Надо только продержаться, пока меня не найдут. Но как?"

Он перебрал все известные ему способы зарабатывать на жизнь: сочинять статьи, писать рецензии, редактировать сборники, выигрывать в преферанс, брать взаймы, сдавать бутылки... Решительно ничего не подходило. Может быть, существовали и другие пути, но, наверное, от голода и волнения ничего не шло ему на ум.

Начали попадаться прохожие, странно и некрасиво одетые. Они смотрели на Догонялова с удивлением и интересом, но никто не хотел заговорить с ним, принимая, видимо, за иностранца.

В другом случае, оказавшись в незнакомом городе, шел Догонялов в отдел культуры, а то и прямо в горком. И все выходило само собой. А куда пойти сейчас? К кому обратиться?

Боже мой, как играет судьба человеком! Как не умеем мы пока еще предвидеть будущее и все то, что может стрястись с нами ну хотя бы через два дня!

Не будем, дабы не расстраивать читателя вконец, подробно останавливаться на всех тяготах и невзгодах, обрушившихся на Валентина Васильевича в чужой ему Москве. Скажем только, что первую ночь провел он в ночлежном доме на Сухаревском рынке, откуда попытался улизнуть, не заплатив; был пойман, вздут, накормлен и отпущен с миром. Наверное, там же украли у него часы и бумажник. По счастью, воры не тронули авторучку "Паркер", которую он в конце концов продал и на вырученные деньги поселился

в гостинице на Чистых Прудах, где, к его удивлению, у него не спросили не только паспорта, но даже имени.

Догонялов заказал обед в номер и задумался:

"А что если открыться? Пойти заявить о себе. Найти каких-нибудь ученых, все объяснить, рассказать, привести доказательства. Но где их искать, ученых? Да и есть ли вообще ученые в этой ужасной стране, в этом диком городе? А кроме того, как расскажешь? Он человек нового, справедливого общества, где давно нет эксплуататоров, а здесь эти эксплуататоры толпами ходят и ездят по улицам. Им прислуживают городские, сыщики и военные, которые, лишь только выяснят, откуда он и кто, тут же его к чертовой матери, арестуют, посадят в тюрьму, сгонят в Сибири. Нет, нет, нельзя, ни в коем случае нельзя! Объявить себя иностранцем, ограбленным злодеями? Нет, тоже не годится. Пойдут вопросы — какой страны, откуда, заявят в посольство". Да и в языках Валентин Валентинович особенно силен не был.

И тут его осенило. А почему бы и не пойти по профессии? Писать статьи в какой-нибудь журнал, прогрессивный, конечно. "Здравствуйте, Виссарион Григорьевич, позвольте представиться — Догонялов. Рад буду с вами сотрудничать". А? Вот это да! Конечно же именно так и следует поступить. Вот только, дай Бог памяти, какой же у них тогда был прогрессивный журнал? Но сколько ни тужился бедный критик, сколько ни напрягал память, вспомнить какой же именно журнал ему нужен, так и не смог.

В конце концов он махнул рукой: "Не важно, где писать, важно писать хорошо — а это я умею" — и, не откладывая в долгий ящик, тут же отправился искать редакцию.

Догонялов отворил дверь, переступил порог и оказался лицом к лицу с позолоченным швейцаром. Швейцар окинул подозрительным взглядом помятое платье критика и решительно преградил ему дорогу.

— Чего вам здесь надобно, сударь? — спросил он, и от его голоса повеяло безнадежностью.

И тут Догонялов неожиданно вспомнил, как еще в быт-

ность свою студентом приходилось ему выкручиваться из неприятных ситуаций.

Он шагнул на швейцара и членораздельно произнес:

— Ту хум ар ю спикинг? — и, выждав, добил: — Вир фарен нах Анапа!

Швейцар вытянулся:

— Сейчас доложу их превосходительству. Соблаговолите вашу визитную карточку.

Но Догонялов, не отступая ни на вершок и смерив только швейцара презрительным взглядом, холодно заметил:

— Ту би ор нот ту би эт из квесчен!

Швейцар отступил и беззвучно скрылся за дверью. Минут через пять, пятясь задом, он появился вновь и торжественно сообщил, что их превосходительство просят господина иностранца пожаловать.

Сидя в просторном непривычном кабинете, несчастный Валентин Васильевич, чувствуя, как пол качается у него под ногами, врал удивленному г-ну редактору:

— Из Новой Зеландии... не извольте беспокоиться — только по-русски... надеюсь усовершенствовать свои познания... давно питаю интерес к русской литературе... неизвестные злоумышленники... в ужасном положении...

На вопрос, как его зовут и чего же он хочет, новозеландский любитель российской словесности отвечал, что величают его Жан-Поль Сартр и что желает он испытать свои силы на поприще писания литературно-критических статей во вверенном им благородию журнале.

Господин редактор удивился еще более столь странному к себе обращению, однако похвалил изрядные познания г-на Сартра в русском языке и согласился дать ему возможность попробовать свое перо.

— Что же, сударь, любопытно будет узнать ваше мнение, ну, хотя бы вот об этом... — и, достав газетную подшивку, полистал ее, и, отчеркнув нужное, подал Догонялову. — Извольте, вот перо, бумага, чернила, не стану вам мешать.

Догонялов сел за стол. Нашел отчеркнутое. "И скучно, и грустно, и некому руку подать...". Строчки показались

ему знакомыми. Взглянул на подпись и остолбенел: "Михаил Лермонтов".

И в памяти встали торжественные президиумы юбилейных собраний общественности, милейший Иракий Андронников, уютные рестораны Пятигорска и какие-то полногрудые дамы на склоне Машука...

"Лермонтов, Михаил Юрьевич, родился в 1814 году", — машинально написал Валентин Васильевич и запнулся. Зачеркнул, начал снова: "Великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов в своем бессмертном стихотворении "И скучно, и грустно ..." Нет, опять не то. Снова зачеркнул. "В коротком, всего в 12 строк, стихотворении Михаил Юрьевич Лермонтов сумел с гениальным лаконизмом показать трагедию прогрессивного дворянского интеллигента, бесконечно далекого от народа в реакционно-крепостнической России...".

У него засосало под ложечкой... Пропал, пропал, сейчас инфаркт! Но тут взгляд его случайно остановился на названии газеты. Быть не может! Увидь сейчас Валентин Васильевич из окна редакторского кабинета троллейбус № 5, и то, пожалуй, не обрадовался бы он так, как имени этому, набранному непривычным шрифтом, но такому родному и близкому: "Литературная газета".

Догонялов снял пиджак, закатал рукава несвежей рубахи и набросился на стопку бумаги.

Теперь настало время познакомить читателя с творческой лабораторией критика Валентина Догонялова.

Обычно, садясь работать, Догонялов прочитывал передовую статью свежей газеты и, задав себе мысленно нужное направление, некоторое время затем рассеянно выводил на бумаге фразы, на первый взгляд не имеющие к делу никакого отношения: "Спартак-Динамо... Спартак-Динамо... Завтра вечером у Любы... И я по шпалам, и я по шпалам..." Но после нескольких минут таких упражнений рука его приобрела все большую и большую легкость, пока наконец, достаточно разогнавшись, не начала писать как бы сама собой вполне связный текст. Некоторое время, подобно запыхавшемуся хозяину, который пытается поймать собаку, обрвавшую цепь и выбежавшую на тихую дачную улицу, Вален-

тин Васильевич старался угнаться за выходящим из-под пера, но мысль его все более отставала от написанного, пока погоня не прекращалась вовсе. Наконец, поставив с налету последнюю точку, рука его останавливалась. Теперь можно было не торопясь прочитать написанное, зачеркнуть несколько первых фраз, кое-что (но немного) доработать и потом спокойно и не торопясь все перепечатать на машинке.

И сейчас, водя пером и непрерывно зачеркивая, Догонялов с ужасом чувствовал, что рука его все более и более своевольничает. Вместо "безусловно талантливый" вдруг получилось привычное "не лишенный таланта". Как ни старался он написать "поэт", все выходило "молодой поэт". Едва удержавшись, чтобы не помянуть мещанский эгоцентризм, взялся Валентин Васильевич зачем-то изобличать непонятную позицию редакции "Литературной газеты", опубликовавшей столь незрелое стихотворение, могущее оказать самые пагубные влияния на нашу молодежь. Тут Догонялов попытался в последний раз овладеть положением и, дав волю природному либерализму, признал за каждым молодым человеком право на грусть, плохое настроение и даже хандру. Но здесь руку опять занесло и вышло, что никто тем не менее не имеет права изливать собственное дурное настроение на читателя, который в наше время необыкновенно вырос и справедливо требует большего, нежели сомнительная честь присутствовать свидетелем граничащих со столь модным ныне на Западе мазохизмом самоунижений и самобичеваний автора.

"Михаилу Лермонтову скучно и грустно, но как же передать тогда скуку и грусть, охватывающие читателя, которому преподносят в виде откровений пошлые банальности вроде: "Жизнь — пустая и глупая штука", "Любить на время не стоит труда"... Разве в том долг и высокое призвание поэта, чтобы в погоне за дешевой популярностью у некоторой, и притом далеко не лучшей части нашей молодежи, протаскивать в своих стихах такие, например, утверждения: "Вечно любить невозможно"?

Давая в заключение характеристику чисто поэтической ценности стиха, Догонялов с грустью отметил, что "форма

его, к сожалению, вполне соответствует незрелому содержанию”.

Наконец, брызнув чернилами, перо стало. Догонялов отер пот, холодными ручьями стекавший с воспаленной шеи за шиворот грязной рубахи, и с трепетным страхом взялся читать написанное, чувствуя с каждым словом приближение рокового инфаркта.

Впрочем, уже через несколько фраз инфаркт стал казаться ему лишь желанным избавлением от охватившего его кошмара.

Валентин Васильевич даже не заметил, как их превосходительство неслышным шагом подошли к нему и потянули исписанные листы к себе.

— Не готово... только набросок... — простонал Догонялов, не выпуская бумаги из рук, но их превосходительство, мило стиво улыбнувшись Валентину Васильевичу, решительно листы у него отобрали и, придерживая одной рукой очки, начали читать. И сразу же на физиономии их превосходительства изобразилась гримаса удивления. Догонялову показалось, что исписанные листы немедленно полетят ему в лицо, и громовое: "Вон!" — уже стояло у него в ушах. Валентин Васильевич стал во фронт и в ожидании удара зажмурил глаза. Но удара не последовало, а когда он глаза открыл, их превосходительство с самым приятным выражением уже дочитывали статью.

— Грамотности у вас, сударь, никакой. Слово "он" без ер на конце пишете, однако недурно, очень недурно.

Гора свалилась с плеч критика. Он долго не мог опомниться и только лепетал:

— Рад стараться, рад стараться...

Но потом осмелел и, напомнив опять о стесненных обстоятельствах, в которых оказался, попросил двадцать пять рублей в счет будущих гонораров.

Их превосходительство, видимо, удивились и не обрадовались, но тем не менее достали бумажник и, порывшись в нем, вынули рублевую ассигнацию, а затем, подумав, присокупили к ней еще одну и, протянув Догонялову, велели приходить завтра с утра.

Вечером того же дня, сидя за вистом в Английском клубе, г-н редактор рассказывал своему постоянному партнеру генералу Полугубову:

— Появился у меня в редакции иностранец, непонятно откуда взялся. Одет черт знает во что, грамотности никакой, слог — ужасный, но образ мыслей имеет правильный и рвение похвальное.

— Ах, сударь мой, — отвечал ему генерал Полугубов, — не верьте вы немцам. Вот помню, когда мы с князем Михайлой входили в Пруссию... — и рассказал г-ну редактору интереснейшую историю времен похода 1813 года, не имеющую, впрочем, прямого отношения к сюжету нашего рассказа.

И наступила в новой жизни критика Догонялова эпоха перемен к лучшему. Пока существуют на свете поэты, полно среди них поэтов молодых. Поэты старые и даже пожилые — суть люди почтенные, молодых же поэтов надобно учить и делать это следует хорошему, понимающему толк критику, как раз такому, каким и являлся Валентин Васильевич.

Взяв псевдонимом собственную фамилию и отбросив первоначальную робость, следующие статьи свои начинал он уже попросту: "Этот поручик Лермонтов, молодой человек, более известный своими скандальными похождениями..." (Дерзкий поручик доставлял ему особенно много огорчений — откликнись он на принципиальную и доброжелательную критику, признай в прессе или просто передай через знакомых, что, мол, "учтем и благодарен", и не было бы с ним Догонялову хлопот. Но он упрямо молчал, и приходилось с ним работать и работать.)

Впрочем, писал Догонялов статьи и более общего характера:

"Куда идет редакция "Отечественных записок" — вот вопрос, который задает всякий читатель, которому не безразличны судьбы отечественной литературы, и не без основания..."

И бушевали страсти, и наповал разил сарказм, и в порошок стирала железная догоняловская логика, и находил всякий русский читатель наконец долгожданного заступника и оградителя, о каком раньше и мечтать ему не приходилось.

И платились гонорары — ассигнациями и серебром, и вслед за модным фраком появилась уже хорошая квартира на Разгуляе, и не за горами был собственный выезд рысаков, и московские маменьки, собирая на балы взрослых дочерей, говаривали:

— Смотри, Маша (Наташа, Ольга), там должен быть г-н Догонялов, — он, кажется, холост...

А сам Валентин Васильевич уже все реже и реже мечтал о том, как явится за ним спасательная экспедиция и увезет домой. Он привык к свечам и букве " " и даже находил здешнее отсутствие бурного уличного движения удобным для жизни. И только иногда нападало на него: "А вдруг докопаются, дознаются, кто я и откуда, а вдруг выследят, донесут, узнают..." Ах, не поглядят его тогда по головке, пропадет тогда Догонялов! Страхи эти стали особенно сильны после того, как Догонялов вспомнил, что в украденном бумажнике, кроме всего прочего, были и кой-какие его документы...

И вот однажды в своей уютной квартирке на Разгуляе Догонялов работал над большой статьей, которой суждено было стать украшением русской критической мысли. Называлась она "О истинной и "странной" любви". Поводом к ее написанию послужила публикация все в тех же заблудших "Отечественных записках" очередного творения неумного поручика под возмутительно-претенциозным названием: "Родина".

"В первой строке своего нового опуса поручик Лермонтов во всеуслышание объявляет о том, что любит Отчизну. "Что же может быть похвальней!" — воскликнет читатель в надежде на то, что г-н Лермонтов нашел-таки в себе душевные силы стать на правильный путь. Но, к сожалению, неискушенный читатель ошибется.

Уже во второй строке автор оговаривается, что любовь его носит "странный" характер. Мягко говоря, нельзя назвать эту оговорку неуместной, ибо каждый читатель, давший себе труд дочитать это, с позволения сказать, "произведение" до конца, неминуемо задает вопрос: "А не слишком ли уж эта любовь странна, даже для такой экстравагантной личности,

каковой является в нашем обществе Михаил Лермонтов?"

Второй вопрос, который справедливо задаст читатель, будет, конечно, таков: "Какое право имеет молодой человек, прославившийся ловеласом и бретером, поучать нас столь высокой категории, каковой является любовь к Родине?"

И, наконец, третий вопрос, который следует задать: "Как могло случиться, что в земле русской появился человек, претендующий тем более на звание поэта, который изо всего, что есть, нашел увидеть лишь холодные пейзажи да печальные деревни, населенные пьяными мужичками? И это все! Все — в стране, на которую устремлены ныне надежды всего человечества как на гаранта мира и порядка в Европе? И это все, за что можно любить матушку землю нашу, прошлое которой величественно, настоящее прекрасно, а будущее грандиозно?! Откуда же взялся этот человек (вскормленный, кстати, русским хлебом)? Как мог он дойти до столь низкого падения?"

Именно с ответа на этот вопрос и следует начать..."

Далее Догонялов собирался совершить некий экскурс в биографию поручика, помянуть, со свойственным настоящему таланту объективизмом, его ранний успех, вспомнить надежды, которые возлагала на него общественность. Затем, приведя несколько подробностей из интимной жизни поручика, следовало всему миру убедительно продемонстрировать, куда может привести погоня за дешевой славой, непочитание авторитетов, писание на потребу идейно-опустошенным снобам.

В заключение критик собирался остановиться на разборе пагубных веяний, известно откуда проникающих в наше общество и толкающих его к бездне скверны, с которой он, Догонялов, давно уже, не жалея себя, борется своей нелегкой, но столь нужной обществу деятельностью.

Именно эта часть статьи, как справедливо подсказывала Валентину Васильевичу профессиональная интуиция, должна была удалиться ему особенно хорошо.

Порыв высокого творческого вдохновения охватил Догонялова...

Но тут творческий процесс пришлось неожиданно прервать.

Два молодых человека в штатском добивались немедленного приема. Догонялов всегда гордился своей репутацией друга и наставника молодежи. Но эти двое вели себя развязно, манеры обнаруживали ужасные, а вместо получения наставлений старались задавать вопросы, все более касавшиеся личности самого Догонялова и его прошлого. От внимательного взгляда Валентина Васильевича не ускользнуло, как переглянулись молодые люди, услышав имя "Сартр", и как усмехнулся длинный, задавая какой-то вопрос о Новой Зеландии. Беседа становилась для него все более тягостной, и Догонялов уже начал подумывать, как бы отделаться от назойливых посетителей. Но тут ему стало казаться, что он уже встречал их, этого долговязого, в последние дни несколько раз в самых разных местах. Конечно же он видел его в кондитерской на Сретенке, и именно он толкнул его в буфете театра с неделю назад, и этот толстенький тоже, кажется, был там...

И страшная догадка открылась Валентину Васильевичу:

— Это они... оттуда... Его выследили... попался... конец.

И долговязый, как бы читая его мысли, радостно ухмыльнулся и, поднявшись, сказал:

— А ведь мы за вами приехали, Валентин Васильевич, собирайтесь...

Сколько раз готовился он в мыслях своих к этому визиту! Сколько раз уже пережил страшный миг! Сколько раз, казалось, за ним уже приходили!..

— Сохранить достоинство... Пусть смотрят на человека будущего... пусть смотрят на Догонялова...

Толстенький, непонятно, как и успел, уже подавал ему шубу, цилиндр и трость.

— Никуда не поеду... Я занят, у меня дела... статья... меня знает их сиятельство товарищ Полугубов...

— То есть как это — не можете?! Какие могут быть дела? Мы вас чуть не год ищем! У нас инструкции! — возмутился наглец. — Нет уж, пойдемте...

— Насилие над личностью! Произвол! — гневно заорал Догонялов про себя, а вслух еле слышно прошептал: — Я ни в чем не виноват... это недоразумение... я все объясню...

— Конечно, не виноват, конечно, недоразумение, — охотно согласился длинный. — Но сейчас — давайте поскорее.

Подгибающимися ногами переступил Валентин Васильевич порог своего дома. Извозчичья пролетка их уже поджидала.

— Господин литератор должны срочно выехать на свою родину, в Новую Зеландию, — услышал он, как рассчитываются насильники с прислугой. — В Москву более не вернуться...

"Не вернуться!" — значит, навечно. В Сибирь, в каторгу! Надо бежать!! Сейчас же бежать!!! — пронеслось в мозгу у Догонялова. — Подножку одному, другому — ногой в пах, и через ограду..."

Он сел на снег и перекрестился на неярко блестящие в вечернем свете кресты Елоховского Собора.

Молодые люди подхватили его под руки и посадили в пролетку. Они пытались заговорить с ним, но Догонялов не отвечал, и они долго ехали молча куда-то на окраину. Потом пролетка остановилась, и те же сильные руки поставили Догонялова на снег.

Юные мерзавцы рассчитались и с извозчиком, и тот уехал, оставив их одних в пустынной местности, на опушке леса.

— Идемте, Валентин Васильевич, — услышал он, как сквозь сон, — здесь рядом, в лесу...

— Без суда, — решил Догонялов и потерял сознание.

Он очнулся от запаха озона.

— От радости, наверное. Помучился, бедняга, в XIX веке, — донеслось до него сквозь странный звон.

Догонялов несмело открыл глаза — он лежал на полу в кабине машины времени.

Прошло не менее недели, прежде чем Догонялов пришел в себя. Ему восстановили утраченные в XIX веке документы и отправили в специальный санаторий, где он еще более месяца приобретал столь необходимое для творческой работы душевное спокойствие. Но затем опять взялся за перо.

Как выяснилось, за время его отсутствия число молодых поэтов ничуть не уменьшилось, и, отвергнув выгодное предложение писать мемуары, Валентин Васильевич снова стал в строй.

И по сей день трудится он на нелегкой ниве критического поприща.

О необычайных приключениях своих вспоминает скупно. Разве что иногда коварная " " умудрится пробраться к нему в статью, да в разговоре, обмолвись, назовет начальника "ваше превосходительство".

## ЕЛЕНА МАРКОВНА

— Елена Марковна! — мой собеседник глубоко вздохнул и задумчиво сплюнул в Тихий океан. — Елена Марковна! Боже мой, сейчас она уже стара, а ведь я помню ее еще почти девочкой! — Он опять грустно вздохнул и молчал некоторое время, мелкими глоточками отхлебывая из своего стакана, пока я тем временем глазел на странную вывеску заведения, куда я попал при столь странных обстоятельствах.

— Да вы пейте, пейте, — обратился он ко мне опять. — Все бесплатно. Соотечественников пою и кормлю бесплатно, за одно, так сказать, удовольствие поговорить на родном языке.

Тогда я набрал в легкие воздуха и спросил его:

— Скажите, почему вы так странно назвали все-таки ваше кафе?

Он опять помолчал, а потом ответил:

— Извольте. Хотя, собственно, я и так не удержался бы и рассказал вам эту достойную внимания историю о Елене Марковне, этом заведении и о себе.

Началось это давно, очень давно. Я тогда был еще поручиком Его Величества 37-го Гвардейского пехотного полка. Полк наш стоял в городке Н., ожидая отправки на германский фронт. Мы, офицеры, в большинстве своем молодежь, в предвкушении бранных подвигов развлекались в основном карточной игрой. Я играл много, и везло мне чертовски, за что бы я ни садился и как бы рискованно ни играл. И

вот тогда я впервые услышал имя Елены Марковны. Как-то уже под утро, вставая из-за стола, обобранный мной до копейки штабс-капитан Б. спросил меня: "Вы, наверное, не знакомы еще с Еленой Марковной? — и, услышав мой утвердительный ответ, сказал несколько злорадно: — Оно и видно. Но погодите, ужо познакомитесь с ней, тогда посмотрим, как вы купите к девятнадцати валета!" — и, не отвечая на мои недоуменные вопросы, ушел, хлопнув дверью. С тех пор, почти каждый раз, как мне приходилось удивлять моих товарищей своим необыкновенным везением, кто-нибудь не преминул, бывало, сказать мне: "Видимо, не знакомы вы с Еленой Марковной".

На глазах моих творились вещи почти необыкновенные. Люди, до того совершенно счастливые во всех своих предприятиях, вдруг впадали в полосу совершенного невезения, и жизнь их рушилась прямо на глазах. Несчастья кругом меня сыпались одно за другим, и только я, чем дальше, тем разительнее, выделялся среди своих товарищей своим необыкновенным везением. Я очень страдал, так как боялся, что все примут меня за шулера, проходимца и вовсе непорядочного человека. Да и не привык я с детства чем-либо выделяться среди окружавших меня. А кроме того, жечь меня начало необыкновенное любопытство: "Кто же эта таинственная Елена Марковна, знакомство с которой ставилось здесь в прямую связь с удачей или же неудачей?!" Тогда обратился я к товарищу моему, назову его поручиком П., наиболее близкому мне в полку человеку, с просьбой познакомить меня с этой таинственной особой. Он посмотрел на меня подозрительно, а потом воскликнул: "А отчего бы и нет!" — и мы уговорились этим же вечером отправиться к Елене Марковне, с которой П. был коротко знаком.

И вот приходим мы в маленький домик, неподалеку от городской церкви, представляем, нас впускают, и моим глазам является, представьте себе, этакая русская красавица, которую можно встретить разве только на картине. Русая коса ниже пояса, огромные голубые глаза, алые губы, длинные шелковые ресницы, щеки — кровь с молоком. Все формы — как из-под резца античного скульптора. Дви-

жения волнообразные и исполненные величия. Взгляд несколько потуплен, но не стыдливо — нет! — скорее, величаво. Язык мой, отвыкший за годы скитаний от родной речи, не в силах сейчас описать, что это была за девушка! Но самое изумительное в ней была задница. Хотя ее настоящие формы и были скрыты двумя юбками и всем остальным, но одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что сядь она на грецкий орех, так раздавит его в тот же миг. От всего этого, поверите ли, у меня даже рот открылся. Елена Марковна, которую все называли по отчеству, несмотря на ее юные годы, и которую я более склонен был тогда назвать Еленой Прекрасной, пригласила нас к самовару. Потом П. откланялся, так как ему надо было идти в караул. Потом...

Мой собеседник мечтательно вздохнул, слегка закатив глаза цвета своей утраченной юности, и ущипнул за ягодицу проходившую мимо с подносом официантку, ответившую ему кокетливой улыбкой.

— Разве это задница! — сказал он с сарказмом и, на этот раз зло, плюнул в Тихий океан.

— Ну ладно, продолжим. С того самого дня удача моя прошла, как отрезали. На другой же вечер проигрался я в пух и с тех пор не выиграл ни разу. В полку не было ни одного офицера, не знакомого с Еленой Марковной, и, не пойму до сих пор, как это могло случиться, ведь должен же был кто-то выигрывать, все проигралось до последней копейки, прозакладав подвижность и недвижность. Человеку, материалистически настроенному, это покажется невероятным, но я, сколько ни напрягаю свою память, не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь выиграл, и хоть тресни! Замечу, что при первом же столкновении с неприятелем полк наш был немцами наголову разбит, совершенно уничтожен и впоследствии вовсе расформирован.

Дальше война, революция, гражданская война, эмиграция — черти-чего только не было. Я и вспоминать перестал Елену Марковну, хотя, нет-нет, а мое невезение давало себя знать.

Наконец я оказался здесь, в этой тропической дыре. Вы здесь третий день? Ха-ха, попробовали бы вы с мое! Страна самая что ни на есть дерьмо. Народец один чего стоит! — он

с пренебрежением швырнул бананом в сторону толпы оливковых граждан на набережной, которые с необыкновенным шумом вот уже с полчаса дергали за полотнище американского флага, пытаюсь, видимо, отодрать его от древка. — Вот, полюбуйте, народец! Они этот флаг будут до вечера отдирать!

Он в третий раз плюнул в океан и очень художественно выругался.

— Так вот, сюда я явился не без некоторых средств, доставшихся мне после самоликвидации одного эмигрантского правительства. Впрочем, это не относится к делу... Так вот, остановился я в отеле, и в первый же вечер — сенсация. Застрелился какой-то турист, приехавший сюда с дамой. Получил на телеграфе корреспонденцию, вернулся в номер, спросил русской водки и застрелился. Услышав про русскую водку, я насторожился и, как сердце чуяло, вспомнил Елену Марковну. Спускаюсь в бар, спрашиваю официанта: "Где та дама?" — Он говорит: "Вон, сидит в холле". Обернулся и остолбенел: ОНА! Надо сказать, что после нашей первой встречи прошло более пятнадцати лет, но Елена Марковна почти не изменилась, разве что стала... как бы это сказать?.. несколько фундаментальней. Она, представьте, узнала меня, и... ну, в общем, я открыл здесь дело, а она осталась со мной.

Любопытно вам будет узнать, что с ней было за эти годы? Мой бедный друг, поручик П., будучи более других поражен ее совершенствами, не терял с ней связи всю войну, в течение которой был трижды тяжело ранен, не считая того, что в Том же Н., куда он приехал после госпиталя специально повидать Елену Марковну, он заразился какой-то очень редкой тропической болезнью и пролежал до самой Февральской революции. Потом участвовал он в Корниловском движении, а потом поселился было с Еленой Марковной в Москве, но ненадолго, так как принял участие в октябрьских боях, геройски дрался на баррикадах где-то около Сандуновских бань и был расстрелян красными. Потом Елена Марковна сошлась с одним полковником из Добровольческой Армии, которого убили под Екатеринославом. Потом

ее вывез из Одессы какой-то офицер из штаба, но их паровоз, шедший в Румынию, потопила по ошибке французская же подводная лодка. Елену Марковну спасли румыны. Несколько лет прожила она в Бухаресте. Потом были Чехия, и Германия, и многие другие страны, и везде, пока был около нее какой-нибудь иностранец, все шло хорошо. Но ее тянуло к русским людям, и тут уж обязательно что-нибудь с ними случилось.

Однако первые годы у меня с ней все шло гладко, и я уж было начал думать, что в Западном полушарии злой русский рок оставил Елену Марковну, но вышло, что я ошибся. Банки, куда я вкладывал деньги, лопались. Один раз я даже нарочно обанкротил одного сукина сына — пароходы, которые я страховал, упорно не хотели тонуть. Все шло к тому, что выходило мне снова стать нищим. Елена Марковна сама, бедняжка, понимала, что несчастья следуют по пятам за ней, и, любя меня, хотела меня оставить. Но я ее не отпускал, решив, что так уж, видно, мне на роду написано. Потом начало ее тянуть на Родину, но опять была война, и из патриотических соображений мы решили, что до конца войны ей ехать в Россию нельзя. Знаете ли, мы, эмигранты, очень патриотичны, а я был уверен, что лучше ей сидеть в этой дыре, чем ехать в Россию, пока там и без нее война. Но, настало время, я спустил все, что у меня было, война кончилась, и Елена Марковна уехала с одним американским евреем. Вообще-то этот еврей был родом из Одессы, и на него тоже, может быть хоть частично, распространяется русский рок Елены Марковны? Как вы думаете?

Я отвечал, что вообще-то Одесса русский город, а еврей везде еврей, особенно в Америке, даже если он из России, хотя, конечно, он все-таки... и т. д.

Но мой собеседник, видимо, и не собирался услышать от меня что-нибудь вразумительное. Да, по-видимому, он и не нуждался в этом. Вопрос для него казался совершенно ясным и простым.

— А у меня, знаете ли, после этого дела пошли. Я, видите ли, получил с еврея некоторый отступной, хотя это, так сказать, к делу не относится... Я открыл этот **NIGHT-CLUB**,

ничего живу себе, а заведение назвал в ее честь "У Елены Марковны", да только в последнее время, уже постарев и впад, по-русски, в философический образ мышления, стал раздумывать: не является ли она, моя Елена Марковна, воплощением той русской невезучести и этой, знаете ли, исконной русской черты, которая так хорошо выражается на нашем языке... И переименовал кафе по созвучию и по моему глубокому убеждению в NIGHT-CLUB "К ебеней матери". Ибо у каждого, кто был с ней знаком, именно так и шли все дела и вся судьба... К ебеней матери! — громко проговорил он.

Официантки, услышав, видимо, знакомое звуко сочетание, сразу же прекратили работать и обернулись к нему.

— Ничего, работайте, работайте, — проговорил он им по-испански и предложил мне еще выпить. — Года два назад один мерзавец из наших донес на меня властям, что у меня заведение имеет непристойное название. Меня заставили переписать его славянскими буквами, а по-местному он называется по-прежнему: "У Елены Марковны".

Он помолчал, а потом добавил:

— А кроме того, на эту вывеску нет-нет, да зайдет землячок.

Он замолчал.

— А как же Елена Марковна? — спросил я.

— Елена Марковна? Знаете ли, я почти потерял ее след. Кажется, она вернулась в Россию... Я читал в газете, что они опять покупают хлеб в Аргентине... Хотя это и не имеет прямого отношения к предмету нашего разговора...

---

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

## ХРУЩЕВ И МИФ О БИРОБИДЖАНЕ

Эта публикация представляет собой выдержки из статьи, напечатанной почти 20 лет назад в журнале "Социалистический вестник", и относится к области, на которую в СССР уже давно наложено железное цензорское вето. С другой стороны, кажется, и на Западе уже давно развеяна легенда о Биробиджане, как о некоем мифическом государстве "советских граждан еврейской национальности". И если редакция все же решила вернуться к этой теме, то лишь для того, чтобы показать, что у нее есть своя история. И из истории этой видно, в каком свете с самого начала проблема еврейской государственности представала в глазах советских властей и какими методами они пытались ее решить.

Хрущев время от времени выступает с поразительными высказываниями по еврейскому вопросу. В августе 1956 года у него была двухчасовая беседа с делегацией канадской коммунистической партии, большая часть которой была посвящена вопросу о положении евреев в Советском Союзе; Хрущев развил здесь странную теорию о своеобразных отрицательных чертах еврейского национального характера и попутно пролил неожиданный свет на процесс Бергельсона-Фефера-Лозовского и других, невинно — это сейчас признает и Хрущев — осужденных и расстрелянных в августе 1952 года (см. об этом обзор "Крымское дело" в № 5 "С. В."

за прошлый год). В июне 1957 года, при посещении Советского Союза наследным принцем Йемена Сейф уль-Ислам Мохамед эль-Бадром, Хрущев беседовал с одним из сопровождавших йеменскую делегацию арабских журналистов, корреспондентом каирской газеты "Ал Ахрам", и при этом недвусмысленно солидаризовался со стремлениями арабских экстремистов полностью уничтожить Израиль, но советовал арабам "пока" проявлять "терпение": "время работает на них". В марте текущего года Хрущев имел продолжительную беседу с корреспондентом парижского "Фигаро" Сержем Груссаром, в которой говорил о Биробиджане, почти как о земле обетованной, еврейская колонизация которой не удалась лишь по вине самих евреев, и опять вернулся к, по-видимому, излюбленной им теме — о недостатках еврейского характера, о которых говорил, правда, на этот раз более осторожно. Заслуживает внимания, что советская печать хранит о всех этих высказываниях молчание. Но подлинность этих высказываний не подлежит сомнению: они каждый раз привлекают к себе на Западе широкое и не очень благоприятное для Советского Союза внимание, и, если бы сообщения о них носили апокрифический характер, они не остались бы без официального советского опровержения.\* А о беседе Хрущева с канадцами, кстати, и стало известно лишь из коммунистической еврейской печати (канадской и США).

---

\* Последнее интервью вызвало, правда, что-то вроде запоздалого полупровержения, но читатель не затруднится в его оценке. Беседа Хрущева с Сержем Груссаром происходила 19-го марта (см. "Правду" от 20-го марта); пространный отчет о ней в "Правде" был напечатан 27-го марта. Но о евреях в этом отчете не было ни слова. Отчет во французской газете появился значительно позже, так как немало времени ушло на "проверку" его в Москве, через советское посольство в Париже (такая "проверка" до опубликования в большинстве случаев является условием получения интервью). 9-го апреля отчет появился в "Фигаро" и своей "еврейской" частью сейчас же привлек к себе внимание печати. 13-го апреля он был перепечатан полностью венской коммунистической "Фольксштимме", которая с высказываниями Хрущева солидаризовалась, и в это же время отчет этот появился в еврейской коммунистической печати США и Канады, где

Беседа Хрущева с Груссаром вновь привлекла общественное внимание к вопросу о еврейской колонизации Биробиджана. "Советский Союз, — сказал Хрущев, — был первой страной в мире, решившей помочь евреям не индивидуально, а в целом, как народу. Мы избрали для этого Биробиджан, малонаселенный район в Сибири, к северу от Манчжурии. Мы предоставили его в распоряжение евреев, создав для этого специальный статут. Это был замечательный дар (un don remarquable). Почва в Биробиджане принадлежит к числу самых плодородных. Климат южный. Заниматься там земледелием наслаждение (La culture de sol est une joie). Много воды и солнца. Огромные леса. Минеральные богатства в изобилии. Реки полны рыбы. И что же произошло? Евреи приезжали туда массами, восторженные, исполненные энтузиазма... А затем? Затем лишь немногие остались".

Почему же евреи не осели прочно "в этом прекрасном крае" ("dans cette belle region")? Оказывается, из-за своего характера: евреи индивидуалисты, "в основе своей интеллигенты: они никогда не чувствуют себя достаточно образованными; если только возможно, хотят идти в университет, чего бы это ни стоило"; "интересуются всем, углубляют все, спорят обо всем", но не способны к образованию консолидированного общества, ни политически, ни культурно. Отсюда Хрущев делает далеко идущие выводы и для политики в отношении евреев в Советском Союзе, и относительно Израиля. Но это особая тема. Сейчас я хотел бы остановиться лишь на характеристике Хрущевым Биробиджана.

Вопрос о еврейской колонизации Биробиджана возник в 1927 году. Это было время, когда советское правительство действительно считало одной из своих задач преодоление

---

он вызвал чрезвычайную тревогу. Советская печать молчала и продолжает до сих пор молчать, но московское радио, предназначенное для заграницы, 24-го апреля — через 15 дней после опубликования интервью в "Фигаро" — и затем вновь 26-го апреля и 5-го мая в общей форме протестовало против "выдумок" в этом отчете, но так и не решилось сообщить, что же сказал Хрущев, и тем более не решилось утверждать, что Хрущев вообще не говорил с Груссаром о положении евреев в Советском Союзе.

нищеты еврейского местечкового населения бывшей черты еврейской оседлости путем привлечения евреев к производительному труду в промышленности или в сельском хозяйстве, в частности, путем создания еврейских с-х. поселений. В качестве одного из возможных районов еврейской с-х. колонизации выдвинулся в 1927 году район на Дальнем Востоке, между Амуром и его притоками Бирой и Биджаной, получивший вскоре название Биробиджан. Летом 1927 года Комитет по земельному устройству трудящихся евреев при Президиуме Совета Национальностей ЦИК'а СССР (Комзет) послал в Биробиджанский район специальную экспедицию, которая в порядке чрезвычайной спешности произвела обследование на месте\* и к концу года составила "предварительный сводный отчет" о результатах своих исследований. В этом отчете энергично подчеркивалось, что условия для колонизации края трудные и что переселение в Биробиджан может быть успешным, лишь если будет предварительно проведена большая подготовительная работа...

...28-го марта 1928 года Президиум ЦИК'а вынес постановление об организации Комзетом переселения евреев в Биробиджан, и уже через три недели первые эшелоны двинулись в путь. Уже самая поспешность, с которой было проведено обследование района, и тем более поспешность, с которой тотчас же после вынесения правительством решения было начато переселение (с прямым игнорированием выводов специальной экспедиции), заставляли думать, что еврейская колонизация Биробиджана диктовалась не только интересами преодоления еврейской нужды, но еще и другими соображениями. В литературе того времени на это имеются ясные указания. Перед правительством стояла задача скорейшего заселения большой пограничной территории, чтобы устранить опасность массового проникновения на эту территорию колонистов из-за рубежа. Заместитель председателя Комзета Мережин, в заседании Комзета 12-го июля 1928 го-

---

\*Территорию, по размерам превышающую Голландию и почти достигающую размеров Швейцарии, покрытую дикой тайгой, в значительной части заболоченную, почти без дорог и без населения, экспедиция изъездила и исходила в течение 47 дней.

да, только что вернувшись из продолжительной поездки в Биробиджан, говоря о решении правительства направить еврейских переселенцев в Биробиджан, отметил, что "кроме 'еврейского вопроса' ЦИК намечал здесь решение и другой не менее важной проблемы — проблемы заселения, вернее, советского освоения пространств Дальнего Востока, пустование которых дразнит аппетиты империалистических соседей... Через 10-15 лет китайцы подойдут плотной массой к рекам Амуру и Сунгари. Манчжурское население достигнет тогда приблизительно 30 миллионов человек. Значит, вопрос сводится к тому, удастся ли заселить в ближайшие 10-15 лет Биробиджанскую приамурскую полосу. Если она будет заселена своевременно, то тогда китайская с-х. иммиграция станет невозможна".

Этими мотивами, по-видимому, в какой-то мере диктовалась для советского правительства поспешность, с которой начата была еврейская колонизация Биробиджана. Для местечковой еврейской бедноты эта поспешность была тем более естественна, что о предстоящих трудностях ей почти ничего не говорили, а о радужных перспективах шумели вовсю. Но, приехав в Биробиджан, переселенцы — в особенности первые переселенцы — пережили подлинную катастрофу. Об этой катастрофе в советской печати сохранилось чрезвычайно красноречивое свидетельство.

Во второй половине 1929 года Биробиджан посетила делегация американской организации Икор (Общества содействия еврейской земледельческой колонизации в Советском Союзе). Сопровождавший делегацию в ее поездке по Биробиджану в качестве гида и переводчика советский журналист Виктор Финк так описал то, что он увидел на станции Тихонькая (в будущем городе Биробиджане) осенью 1929 года, через полтора года после начала еврейского переселения в Биробиджан:

**"В поселке на станции Тихонькая, Уссурийской железной дороги, являющемся как бы воротами Биробиджана, образуется затор из еврейских переселенцев. Они живут в бараках. В невероятной скученности и грязи валяются вповалку на двухэтажных нарах десятки чужих друг другу людей — холостяков, молодых женщин, стариков, многодетных семейств с грудными младенцами. Я утверждаю, что**

**переселенческие бараки в Биробиджане могли бы быть позором тюрьмы. По положению, переселенцы должны проживать в бараке не больше трех суток. Фактически же они сидят там по два и по три месяца, так как, во-первых, земельные фонды не подготовлены, а во-вторых, нет дорог. Биробиджан не Крым, где можно пройти пешком и где можно жить во временной постройке и даже ночевать летом на дворе. В Биробиджане нужен крепкий дом и нужно, чтобы через болота и тайгу была проложена дорога. Покуда этого нет, из Тихонькой выехать почти невозможно, да и ехать некуда.**

**Среди барачных жителей складывается какой-то особый жуткий быт. Некоторые умудряются получать переселенческий кредит и ссуды, сидя в бараке, и проедают их, даже не выехав на землю. Другие, менее изворотливые, нищенствуют. Я видел в бараке семью, которая дошла до такой степени несчастья, что другие переселенцы, сами ведущие полугодное существование, из жалости собирали для нее милостыню... Одинокие женщины, попав в беспомощное положение, поневоле начинают заниматься проституцией. Иные уезжают для этого в Хабаровск, но в сентябре-октябре 1929 года и в Тихонькой несколько еврейских женщин стали заниматься проституцией. Они приехали с намерением работать на земле, но не могли добраться до земли..." ("Советское Строительство", 1930 г., май, стр. 118-119).**

В 1930 году положение несколько улучшилось, но непрочно, и общее количество евреев, осевших в Биробиджане за первые шесть лет колонизации — ко времени объявления Биробиджана 7-го мая 1934 года Еврейской автономной областью, — не достигало и десяти тысяч, менее одной пятой населения области. Провозглашение "еврейской автономии" носило поэтому в сущности номинальный характер и имело, по-видимому, целью эксплуатировать национальные настроения евреев для целей колонизации края и, может быть, облегчить привлечение средств на нужды этой колонизации из-за границы.

Но если совершенным мифом является чрезвычайно оптимистическая характеристика Хрущевым Биробиджана и условий, в которые там попадали еврейские переселенцы, то не в меньшей мере мифом является характеристика им советской еврейской политики в Биробиджане, как политики национального самоуправления и национальной свободы. Это в особенности сказалось — такова ирония истории — после объявления Биробиджана Еврейской автономной областью (ЕАО).

Цели еврейской колонизации Биробиджана к этому времени коренным образом изменились. В конце двадцатых годов еврейская колонизация Биробиджана была задумана — по крайней мере в первую очередь — во имя спасения от нищеты и хронической безработицы населения умирающих еврейских местечек, и не связанные с судьбами еврейства цели этой колонизации, хотя и играли значительную роль, все же как-то отступали в тень. С 1934 года еврейское переселение в Биробиджан должно было приобрести совсем другой характер: вместо безработной гибнущей еврейской бедноты из бывшей черты еврейской оседлости теперь решено было посылать в Биробиджан главным образом уже занятых в промышленности еврейских рабочих и уже выбравшихся из местечек в более значительные центры, имеющих заработок и сравнительно устроенных еврейских ремесленников. Соответственно и политика содействия добровольному и свободному переселению была вытеснена политикой "вербовки" переселенцев с применением обычных в советском быту методов "общественного воздействия", в какой-то мере придававших вербовке характер "общественной мобилизации". Диманштейн, бывший комиссар по еврейским делам и в течение почти двух десятилетий наиболее авторитетный истолкователь и апологет советской еврейской политики ( до его ареста и затем расстрела зимой 1937/38 года ), так характеризовал эту перемену в редактировавшемся им журнале "Революция и Национальности" ( 1934 г., июнь ) :

**"Переселение еврейских рабочих и трудящихся в Биробиджан нельзя уже теперь мотивировать только необходимостью приобщения этих людей к производительному труду, так как этот момент в значительной мере нами разрешен. Огромная часть нынешних переселенцев в Биробиджан состоит из завербованных рабочих и ремесленников, которые едут туда на конкретную работу... Это более высокая ступень по сравнению с прошлой работой Комзета, когда речь шла в основном о ликвидации деклассированности еврейской бедноты и т. п."**

Необходимость этой переселенческой политики Диманштейн объяснял при этом исключительно государственными интересами Советского Союза:

**"Для каждого сознательного участника социалистического строительства совершенно ясно все значение обороны Дальнего Востока**

**против интервенции. Одним из основных моментов усиления обороны наших дальневосточных границ является необходимость заселить район надежными, выдержанными людьми".**

Может быть, для создания благоприятной психологической обстановки для этого переселения Биробиджан и был объявлен Еврейской автономной областью. Но сделать необходимые выводы из апелляции к национальному сознанию евреев компартия все же не решалась. Для организации переселения евреев в ЕАО не было даже создано никакого еврейского общественного органа ни в районах сосредоточения главной массы еврейского населения Советского Союза, ни в самом Биробиджане. Больше того: в самой пропаганде в пользу переселения в Биробиджан коммунистическая печать часто пыталась совершенно заглушить еврейскую национальную ноту. Это внутреннее противоречие между апелляцией к национальным настроениям для облегчения колонизации Биробиджана и боязнью содействовать росту этих настроений отчетливо сказалось в цитированной выше статье Диманштейна. "Нет сомнений, — писал он, — что мы должны теперь неизмеримо больше усилить нашу борьбу против еврейского национализма, так как он использует в своих целях и этот исключительно важный момент в жизни еврейских масс, каким является создание впервые в истории еврейской автономной области..."

... Но это, может быть, крайний пример. Диманштейн, всю жизнь боровшийся против еврейского "национализма", здесь, вероятно, несколько перегнул палку. Официальная пропаганда обычно не шла так далеко и с 1936 года пыталась даже иногда толковать образование ЕАО в каком-то смысле, как создание "национальной советской государственности в СССР". Еврейская колонизация Биробиджана действительно начала в эти годы крепнуть. Но разгром в 1937/38 году еврейских национальных кадров и всего руководства ЕАО ( в рамках "большой чистки" и сопровождавшего ее исключительного по своему размаху разгрома сложившихся руководящих советских кадров почти всех национальностей Советского Союза) тяжело отразился на дальнейшем развитии еврейской колонизации Биробиджана, и вплоть до вой-

ны общее число евреев в ЕАО так и оставалось на уровне около одной пятой всего населения области.

В годы войны еврейское переселение в Биробиджан целиком было остановлено и общее число евреев в ЕАО даже уменьшилось. И даже по окончании войны еврейское переселение в Биробиджан было открыто не сразу. Постановление правительства о возобновлении организованного переселения в ЕАО состоялось лишь во второй половине 1946 года (точная дата неизвестна), и первый эшелон еврейских переселенцев выехал — из Винницкой области — в декабре того же года ("Эйнигкайт" от 1-го января 1947 г.). За ним последовал ряд других эшелонов, главным образом с Украины и из Крыма. Это трагическая черта: ко времени окончания войны еврейское население, захваченное здесь немцами, было уничтожено почти до последнего человека. Теперешние переселенцы в ЕАО это были те, кто к концу войны вернулся из эвакуации. Факт неожиданно прорвавшейся среди ре-эвакуированных тяги в Биробиджан бросает свет на тяжелую обстановку, в которой ре-эвакуированные евреи оказались по возвращении на прежние родные места. Обострившееся под влиянием событий военного времени национальное чувство остро реагировало на многочисленные проявления антисемитизма и на еще более распространенное равнодушие по отношению к антисемитизму. И в ЕАО потянулись не выбитые из колеи, не знающие, как вновь стать на ноги, а люди, которые могли бы вновь пустить корни на месте или даже уже пустили их, в том числе немало коренных евреев-земледельцев. Это был, казалось, период начинающегося успешного еврейского переселения в ЕАО; но в середине 1948 года это переселение было остановлено. Подробно сообщавшая о нем ранее, "Эйнигкайт" во второй половине 1948 года уже не содержит сообщений о новых эшелонах переселенцев, а в декабре того же года и "Эйнигкайт" была закрыта и руководящие кадры еврейской советской общественности вновь — как в 1937/38 году — подверглись жестокому разгрому. После этого прошло почти десять лет, но о возрождении идеи создания в Биробиджане в какой-то форме центра еврейской национальной жизни уже не было более и речи.

В марте исполнилось тридцать лет со времени постановления Президиума ЦИК'а об организации еврейского переселения в Биробиджан. История этих 30 лет — это история постоянных колебаний колониционной политики — колебаний, неизменно вызывавшихся мотивами, не имеющими ничего общего с интересами еврейского переселения в Биробиджан. От пропагандируемого сейчас Хрущевым мифа о Биробиджане, как о "замечательном даре" советского правительства еврейскому "народу", тридцатилетняя история Биробиджана не оставляет камня на камне.

*"Социалистический вестник",  
№ 6. 1958 г.*

Виктор ПЕРЕЛЬМАН  
**"ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"**

Автобиографическое повествование в двух книгах

Книга первая **"ИЛЛЮЗИИ"**, 216 стр, цена в Израиле — 27 лир, при заказе в редакции — 23 лиры, стоимость за границей — 3 доллара.

Выходит из печати в ноябре 1976 года \*

Содержание:

Москва — 1937 год  
Нарышкинский бульвар  
Война  
Томск  
Я и Кирилл Патрикеев  
Моя проклятая оболочка  
В Ивановском Кедраче  
Быковские звезды  
Наш незабвенный ОРС  
Заверяем товарища Сталина  
Будущий Плевако  
Письмо братьям-корейцам  
Первая любовь  
Грозный мэтр Вышинский  
Кающиеся большевики  
Дело Алика Бакмана  
Перед закрытым шлагбаумом  
Как я редактировал сельскохозяйственную газету  
Бухгалтер-гипнотизер  
"Пиня из Жмеринки" и другие  
Великий заботник  
Биотоки Терехова  
Чиновное счастье  
Мой партийный падре  
Иллюзии  
Бунт в ЦДРИ  
56-й год  
"При их молчаливом согласии"

Заказы на книгу принимаются по адресу: ул. Нахмани, 62, Тель-Авив. Издательство "Время и мы".

(К заказу должен быть приложен чек, и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.)

\* Вторая книга "Крушение" выходит в свет в январе 1977 года.

**"ДЫМ ОТЕЧЕСТВА"**  
**В ПИСЬМАХ ЧИТАТЕЛЕЙ**

Под заголовком "Дым отечества" в прошлом номере журнала мы опубликовали юмористический рассказ Сергея Андреева. Герой рассказа, если вы помните, вознамерился устроить заведение, долженствующее всеми своими атрибутами напоминать его посетителям о прелестях их прежнего и теперь уже далекого отечества. Но вот, разбирая письма читателей, мы убедились, что в них эта тема представлена много шире, чем в рассказе Сергея Андреева, ибо, *хотят* того наши читатели или не *хотят*, а живет в них *этот самый "дым отечества"*, побуждая их решительно бороться с окружающими недостатками вполне определенным образом. Чтобы не быть голословными, приведем ряд читательских писем, в большинстве своем касающихся нашего журнала, разделив их при этом на несколько категорий: на письма серьезные, письма очень серьезные и настолько серьезные, что редакция не вправе молчать. Что же касается характера самих писем, то, следуя избранной позиции, редакция, как всегда, предоставляет место для выражения различных точек зрения, и ответственность за глубину и стиль предлагаемых высказываний, разумеется, не несет.

## ПИСЬМА СЕРЬЕЗНЫЕ

Москва, 1 мая 1976

Дорогой Виктор Борисович, шалом!

Поздравляю Вас с основанием нового журнала. Я прочел № 1, 1975, с большим интересом. Все мои друзья также уверены в успехе этого начинания. Жаль, что нам удастся получать такие вещи с большим запозданием.

В первых числах июня в Израиль приедет мой хороший знакомый, Борис Камянов. Насколько я могу об этом судить, он талантливый поэт, и я буду Вам весьма признателен, если Вы найдете способ помочь ему в публикациях и трудоустройстве.

У нас пока, к сожалению, нет новостей. Мы живем надеждами и упованиями, мечтами и тревогами в ожидании долгожданных разрешений...

Каждый раз мы произносим: "Ле шана хабаа б'ируша-лаим", но это все еще не исполняется.

До свидания

*Ваш А. Лернер*

х х х

"...В принципе журнал русских евреев как культурное явление очень полезен. Ведь поэму Наума Коржавина об Абраме Пружинере ни один зарубежный русский журнал не стал бы, как я думаю, печатать: люди, всю жизнь добросовестно уверяющие себя, что они не антисемиты, обязательно сконфузятся напечатать про этого Пружинера. К тому же утверждение, что этот Пружинер вписывается, как свой, в русскую историю, не может не оскорбить тонких душевных струн тех, кто убежден, что монголы, немцы, латыши,

китайцы пакостили русскую историю, а русские — жертвы вечерние — вовсе ни при чем. Возможно, Наум прислал поэму не про Пружинера, но это, на мой взгляд, именно та поэма, материал того типа, для которого необходим начисто лишенный русского национализма журнал.

Возможно, конечно, журнал Ваш лопнет (чур, как бы не сглазить!), но не виноват луч, если не проникнет сквозь ограду; важно, чтобы свет был в душе".

Ю. А.  
Москва

х х х

## ПИСЬМА ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ

"...В Израиле не "растворяются", а "вливаются" и вносят свою новую лепту. Мой взгляд приблизительно следующий:

а) Русские евреи всегда были в Палестине — Израиле "солью земли". Нет основания заранее и для новоприбывших из СССР отказываться от "высоких претензий".

б) Сохранение связей между русским еврейством и русской культурой, русской общественностью, особенно связей с оппозиционными кругами, — не только естественно, но и желательно, даже по чисто израильским соображениям.

в) Мы здесь последние 10—15 лет "страдаем" от очень односторонней культурной зависимости от англосаксонской, особенно американской цивилизации. Это новый феномен, ибо в прежние десятилетия Израиль "выбирал" из разных культур наиболее близкие ему элементы и иврит укреплялся как единственная господствующая **"LINGUA FRANCA"**. Теперь мы и культурно становимся маленьким сателлитом Америки, и английский язык теснит иврит. Поэтому

другая культурная струя — русского происхождения — желательна...

Парадокс, что сохранение связи с русской культурой усиливает положение иврита и культурной самостоятельности Израиля.

...Поэтому разрыв всех связей и сжигание всех кораблей из ненависти к прежнему "неблагодарному" отечеству по обычному сионистскому рецепту не соответствует будущим интересам Израиля.

*Э. Бруцкус,  
Иерусалим*

х х х

### **...НАСТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЕ, ЧТО РЕДАКЦИЯ НЕ ВПРАВЕ МОЛЧАТЬ**

Уважаемый господин редактор!

18 августа с. г. в вечерней программе на русском языке для слушателей в Советском Союзе радиостанция "Голос Израиля" уделила внимание ежемесячнику "Время и мы". Вскользь упомянув о существовании этого журнала, комментатор в нескольких пренебрежительных выражениях "оценил" качество журнальных публикаций, а затем была зачитана статья некоего автора, к которому редакция радиовещания обратилась с просьбой подискутировать с ежемесячником.

Я не хочу останавливаться на теме дискуссии, равно как и на материале, вызвавшем недовольство сотрудников "Голоса Израиля". Возмутителен сам факт выхода подобной передачи в эфир. В силу известных обстоятельств радиослушатели в СССР, к которым обращались авторы и устройства передачи, не в состоянии взять в руки журнал "Время

и мы", ознакомиться с его литературно-художественным уровнем и прочесть ту статью, с которой решило полемизировать израильское радио. Поэтому оценку еврейского русскоязычного журнала слушатель должен принять на веру.

Упомянутая передача о журнале "Время и мы" очень смахивает на небезызвестные публикации, систематически появляющиеся на нашей географической родине, в которых противная сторона в дискуссии лишена возможности высказаться и становится жертвой литературного произвола.

С глубоким уважением

*Илья Войтовецкий,  
Беер-Шева*

**Редакция благодарит господина Войтовецкого за теплое письмо, однако мы склонны проявить большую терпимость к передачам радиостанции "Голос Израиля", принимая во внимание ее неопределимый вклад в борьбе за алию из СССР. Теперь, когда благодаря всеохватывающей умной и тонкой пропаганде "Кол Израэля" сто процентов евреев, покидающих Советский Союз, приезжают в Израиль, у него не остается иной задачи, как решить: а все ли эти сто процентов облечены правом на такой приезд? Словом, передача, которую имеет в виду г. Войтовецкий, касается такой свежей и оригинальной темы, как "Кто является евреем?".**

**И "Кол Израэль" прав! "Кол Израэль" не может молчать, если журнал "Время и мы" злонамеренно и постоянно пытается наводить тень на плетень в этой жизненно важной для государства области.**

„Многие возмущаются Зинкиным и его "Извещением". Трудно придумать более антиизраильское произведение. И вообще это какой-то бред. О Вашем журнале можно сказать, что Вы сильно ударились в формализм. Содержание

для Вас не играет н и к а к о й р о л и , и оно часто бывает чепуховым (как пьеса Н. Воронель и др.).

Очень хотелось бы прочесть отзывы о Зинкине, о его "Извещении". Также и о бредовых идеях Хазанова. Соответствует ли действительности "Час короля"? Буду очень рада, если получу ответы на мои вопросы.

С уважением *Пиньковецкая*.

P.S. Зинкин очень талантлив, но он ведет его не туда, куда надо".

**Уважаемая госпожа Пиньковецкая!**

Печатаем выдержку из Вашего письма по просьбе г. Зиника (не Зинкина), которое ему почему-то очень понравилось. Упреки в формализме — прелесть, просто "дым отечества". Что до соответствия действительности "Часу короля", то хочется Вас спросить: а "Гамлет" или "Муха-цокотуха" соответствуют действительности? Будем очень рады получить от Вас ответ на наш вопрос.

х х х

"...Прочитал в "Нашей стране", что Вы повысили цену на журнал чуть ли не до 24-х лир за номер. Это уж, как говорится, не лезет в ворота. Знаете ли Вы, сколько стоит билет в ночной клуб в Яффо? Всего 50 лир за пару! Так там же Вы проведете время как человек, отдохнете, а у Вас? Хоть кое-что и есть, зато сионистского духа никакого. За что платить? За этого безыдейного Хазанова, сомнительного еврея? Я уж, конечно, не говорю про антиизраильскую повесть Зиника.

Дорогая редакция! Задумайтесь! Может быть, вместо того чтобы повышать цену на журнал, лучше сделать его более увлекательным для широкого читателя? Больше современности! Больше животрепещущих тем! (По доступным ценам.) На что Вы толкаете читателя? Брать журнал у соседа? А сколько можно брать? Прислушайтесь к голосу рядового

читателя: сбросьте полцены и перестаньте ориентироваться на "сливки".

*Аарон Либер, инженер*

*П. Я. 6172632*

**Глубокоуважаемый г-н Либер!**

Насчет Хазанова обещаем Вам все проверить: что верно, то верно — сомнительных евреев нам не нужно, но цены на журнал все-таки придется поднимать. Бумага, извините, дорожает. Впрочем, у Вас, конечно, есть выход (о котором Вы, кажется, сами догадались): брать журнал у соседа, сосед будет брать у другого соседа, тот у третьего, третий у четвертого и так, глядишь, один журнал за 24 лиры обслужит всю нашу стотысячную алию по цене 0,024 агорота для каждого читателя. Идея настолько блестяща, что письмо Ваше мы немедленно направляем министру финансов Иегошуа Рабиновичу, для того чтобы соответствующую реформу он провел в отношении бумаги, красок и прочих типографских материалов. Вот тогда-то наконец мы и сумеем дойти не только до "сливок", но также до ума и сердца каждого новоприбывшего.

х х х

## О ПОДПИСКЕ НА ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

В соответствии с решением редколлегии от 20 августа 1976 года с первого сентября 1976 года объявляется подписка на второй год издания журнала "Время и мы" (с 13 по 24 номер) .

В конце 1976 и 1977 году на страницах журнала намечается опубликовать произведений Андрея Синявского, Виктора Некрасова, Владимира Марамзина, А. Б. Иошуа, Бориса Хазанова, Григория Зиника, Наталии Рубинштейн, Виктора Перельмана, Феликса Камова, Иосифа Бродского и других писателей. Редколлегия видит свою задачу и в том, чтобы укрепить экономическую базу нашего издания, создать гонимый фонд, помогающий привлечь к выступлениям в журнале лучших писателей современности.

В связи с этим и учитывая, что за истекший год произошло трехкратное подорожание бумаги и типографских материалов, введен налог на дополнительную стоимость и увеличилась стоимость доставки журнала, редколлегия приняла решение установить новые цены на подписку на журнал "Время и мы" .

Годовая подписка — 264 лиры, полугодовая подписка — 144 лиры. Квартальная подписка отменяется. Цена одного номера в свободной продаже — 28 лир. Настоящие цены остаются неизменными в течение двух месяцев, то есть для лиц, подписавшихся до 1 ноября 1976 года. При оформлении подписки после 1 ноября стоимость журнала будет прикреплена к индексу цен и может быть увеличена в соответствии с увеличением индекса.

Для желающих подписаться на год устанавливается право внесения денег в три приема, то есть в форме трех чеков, однако последний должен подлежать оплате не позднее 1 декабря 1976 года. Для желающих подписаться на полгода устанавливается право внесения денег в два приема, то есть в форме двух чеков, однако последний должен подлежать оплате не позднее 15 ноября 1976 года.

### В США И КАНАДЕ

#### **УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ**

62/9 Nachman, st. TA.  
Tel: 621085.  
P.O.B. 24123

сроком на 6 месяцев 19.60 \$  
на 12 месяцев 39.20\$  
Цена номера в открытой продаже - 4.5 \$  
ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев - 78 RFR.  
на 12 месяцев - 156 F.FR.  
Цена номера в открытой продаже - 19 F.FR.  
В ГЕРМАНИИ  
сроком на 6 месяцев 46 DM  
на 12 месяцев - 92 DM  
Цена номера в открытой продаже - 10 DM

Заказ и чек присылать: ул. Нахмани, 62/9, Тель-Авив.

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**АВРААМ Б. ИОШУА** — выдающийся представитель молодого поколения израильских прозаиков. Родился в 1936 году в Иерусалиме. Окончил Иерусалимский университет, был директором израильской школы в Париже. В течение трех лет (1964—1967) возглавлял ассоциацию еврейских студентов в Париже. После Шестидневной войны был деканом в Хайфском университете, где преподает литературу до настоящего времени. Удостоен литературной премии Рамат-Гана, премии Главы Правительства. Печатается в толстых литературных журналах Израиля: "Кешет" ("Радуга"), "Ахшав" ("Сейчас"), "Симан криа" ("Знак препинания") и других. А. Б. Иошуа — автор сценария кинофильма "Три дня и дитя". Его произведения переведены на английский, французский и другие европейские языки. На русский язык переводится впервые.



**МИХАИЛ ЛЕДЕР** — переводчик. Родился в 1922 году, в городе Черновицы. Окончил Венский университет, отделение лингвистики. В 1944 году был призван в Советскую армию и вскоре арестован по обвинению в антисоветской агитации. Срок отбывал в лагерях на Воркуте. С 1956 по 1964 год добивался выезда в Израиль из СССР. С 1964 по 1966 год работал в информационном центре Шимона Визентала по расследованию преступлений нацистов. В 1966 году выехал в Израиль и с тех пор по настоящее время работает в библиотеке Тель-Авивского университета. Перевел ряд произведений Моше Кульбака и других современных писателей на идиш и немецкий. Михаилу Ледеру принадлежат переводы с иврита на русский произведений Эфраима Кишона, Левы Элиава, Вольфганга Лоца. Он перевел с английского на русский романы Гарри Кемельмана и других писателей.

**ИЛЬЯ БОКШТЕЙН** — поэт. Родился в 1937 году, в Москве. Учился в Институте культуры. В августе 1961 года был арестован за публичные выступления на площади Маяковского. Отбыл в лагере пятилетний срок. В Израиль приехал в феврале 1972 года. В Советском Союзе Илья Бокштейн не публиковался, а в Израиле его стихи печатались в журнале "Сион".



**РИНА ЛЕВИНЗОН** — поэтесса. Родилась в Москве. Окончила Институт иностранных языков в Свердловске. Работала преподавателем английского языка, корреспондентом радио и телевидения. Печтала стихи и переводы в различных журналах и газетах. Первая книга ее стихов вышла в 1971 году, вторая — в 1975 году. В Израиль приехала в 1976 году, живет в Иерусалиме.

**АРТУР КЕСТЛЕР.** (См. первый номер журнала.)

**РАББИ АДИН ШТЕЙНЗАЛЬЦ.** (См. первый номер журнала.)

**ИЛЬЯ РУБИН.** (См. шестой номер журнала.)

**МАЙЯ УЛАНОВСКАЯ.** (См. восьмой номер журнала.)

## DIGEST OF TENTH ISSUE OF "VREMIA I MI" ("TIME AND WE")

**A. B. JEHOSHUA.** "Beginning of Summer - 1970".

A novel, translated from Hebrew by Moshe Leder. The story of an old teacher, who is told by the director — his son was kild, and burns him already in his soul. A jerky and thrilling monolog of a father, who has to get over countless obstacles and deep pain in order to find in the late evening of this very Friday his son alive.

**SOLOMON SHULMAN.** "The Liar", "The whore".

Two short stories. The intricate and painful fate of people in today Russia,

**ILJA BOKSTEIN.** "Lyrical miniatures".

**RINA LEVINSON.** Pieces of poetry.

**ARTHUR KOESTLER.** "The Trail of the Dinosaur".

The famous essay of KOESTLER speculates on the possibility of the present world-wide antagonism being overcome by a historic shift in spiritual perspectives before complete mutual extermination has been achieved.

**ADIN STEINSALTZ.** "Religion and Mysticism".

A philosophic essay on the attitude towards the capacity of men to supernatural conception. On the difference and the distinction between prophecy and mystical faculties, which are neither good nor bad, but become such according to the purpose they are used for by people owning them.

**ILYA RUBIN.** "Expiation and Appeasement".

Some Critic, remarks to Vlad. Maximovs roman: "Seven Days of creation".



MAYA ULANOVSKAYA. "The End of Term - 1976"

Memoirs. Continuation. Beginning in No. 9.

OUR PUBLICATIONS.

Stories of Sergey Andreyev.

"Chrushtshov and Birobidjan".

Letters from the readers and the answers of the redactor

# ИЗДАТЕЛЬСТВО ВРЕМЯ И МЫ

*принимает заказы на все виды типографско-издательских работ: издание книг, альбомов, брошюр, рекламных проспектов, выполнение художественно-оформительских и фоторабот.*

*Заказы принимаются как от израильских, так и зарубежных издательств и фирм, выполняются на русском и английском языках и по значительно более дешевым, чем за границей, ценам.*

*Наряду с этим издательство "Время и мы" осуществляет для израильских и зарубежных фирм переводы с английского и немецкого языков на русский, а также с иврита на русский и с русского на иврит.*

*Выполняются заказы на машинописные работы на русском и английском языках, на редактирование и корректуру рукописей. Принимаются также от израильских и зарубежных фирм все виды объявлений и коммерческой рекламы.*

*В журнале "Время и мы" бесплатно публикуется реклама книг, выпускаемых издательством. Наряду с этим издательство принимает на себя работу по распространению этих книг в Израиле и за рубежом.*



**А. БЕЛИНКОВ. "СДАЧА И ГИБЕЛЬ  
СОВЕТСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА.  
ЮРИЙ ОЛЕША".**

Предисловие. Раздел "Об А. Белинкове и его работах". 486 стр. Мягкая обложка. Испания. Цена 12 ам. долларов. Ограниченное количество экземпляров.

*Аркадий Белинков — признанный публицист и ученый. Его книга "Юрий Тынянов" стала библиографической редкостью. Его вещи распространяются в Самиздате. Отбыв тринадцать лет в лагерях Северного Казахстана, А. Белинков умер в США через два года после рискованного бегства из СССР.*

Книга об Олеше издается посмертно по рукописи, пересланной им самим за границу из СССР. Это книга о сдавшемся талантливым писателе, типичном представителе большинства советской интеллигенции, которая не нашла в себе силы для внутреннего сопротивления власти. Книга требует некоторого навыка в чтении подцензурной литературы, поскольку автор делал попытку напечатать ее в советском издательстве. В ней намеренно смешаны научный и публицистический жанры. Поэтому ее иногда называют литературоведческим романом.

Книгу можно купить по адресу:

**NATALIA BELINKOV**  
141 Via Gayuba  
Monterey, Calif. 93940. USA

Пересылка морем для заказчиков из Израиля включена бесплатно.

**ИТРОН ДИРА  
ПРИКРЕПЛЕН**

**ИТРОН ВИТЯХ  
ПРИКРЕПЛЕН**

**ИТРОН ЛАКОЛ  
ПРИКРЕПЛЕН**

**ИТРОН 18.000  
ПРИКРЕПЛЕН**

**КУПОТ ГЕМЕЛ  
ТАМАР, ГЕФЕН  
ПРИКРЕПЛЕНЫ**

**прикреплен...прикреплен...прикреплен...  
прикреплен...прикреплен...**

**«ДИСКОНТ» ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ БОЛЬШЕ**

БОЛЬШЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРИКРЕПЛЕННЫХ К ИНДЕКСУ;  
БОЛЬШИМ ПЕНСИОННЫХ КАСС, СОХРАНЯЮЩИХ ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ ВАШИХ  
ДЕНЕГ;  
ПОДРОБНОСТИ О СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОГРАММЕ ВЫ СМОЖЕТЕ  
ПОЛУЧИТЬ В ЛЮБОМ ИЗ 203 ОТДЕЛЕНИЙ

**IDB** **банк дисконт י'יסראל**

**банк баркיאс - дисконт**



ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

# „КОНТИНЕНТ“ № 8

Содержание :

**СДЕЛАЙТЕ РАСЧЕТ САМИ С КАРАНДАШОМ В РУКАХ**  
и вы убедитесь в преимуществах страхования в нашей фирме.

Мы вам не рассказываем небылиц, не «оглушаем» процентами, а предлагаем самим посчитать и проверить:

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:** полная страховка для автомашины Форд-Транзит 100, водитель в возрасте 40 лет, имеет право на скидку за безаварийность, стоимость автомашины — 70.000 лир.

**СТОИМОСТЬ СТРАХОВКИ  
ВО ВСЕХ КОМПАНИЯХ:**

Основная сумма — 29 лир на каждую 1000 лир стоимости автомашины = 2030 лир

+ страховка «МАКИФ» (пол-  
вая) 1950 л"р  
**Всего 3980 лир**

**максимальная скидка 35% — 1383 лиры**

**Скидка за возраст отсутствует  
За единственного водителя 10%**

дополнительная скидка за  
простой автомашины в суб-  
боту — нет  
**всего 2587 лир**

**ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СУММА:**

в агентстве «ГОЛАН» (совместно с агентством «ЮВАЛЬ») — 1395 лир + выдача полисов на месте + обслуживание и объяснение на русском языке, во всех страховых компаниях — 2587 лир

**СТОИМОСТЬ СТРАХОВКИ  
В АГЕНТСТВЕ «ГОЛАН»:**

Основная сумма — 44 лиры на каждую 1000 лир стоимости автомашины = 3080 лир + страховка «МАКИФ» (пол-  
ная)

**всего 5631 лира**

**Максимальная скидка 145% — 2533 лиры**  
**Скидка за возраст до 30%  
за единственного водителя - 15%**

**Максимальная скидка  
за безаварийность 50% 1549 лир**

(а в связи с новым законом о страховании машин — 55%)  
дополнительная скидка за  
неиспользование машиной в  
субботу 10% 154 лиры  
**всего 1395 лир**

**«ГОЛАН»**

ТЕЛЬ-АВИВ, ул. Мазе 75, тел. 611963 (в здании агентства «Тиран» недалеко от Таханы Мерказит).  
ИЕРУСАЛИМ, ул. Мидбар Синай, 86/5, тел. 02-811713  
— Яков Эпельштейн.

Ян Дрда - «Не притроньтесь к ним даже пальцем, не дайте им ни капли воды...».

Польские поэты в переводе Иосифа Бродского  
Владимир Марамзин — Тянитолкай. Рассказ с авторским продолжением.

Наталья Горбаневская — Из последней книги стихов.

Ирина Одоевцева — Стихотворения.

Иржи Гохман — Чешский хэппенинг, роман (продолжение).

Казис Брадунас — Крестовый холм (перевод Василия Бетаки).

Вас. Гроссман — Жизнь и судьба. Главы из второй книги романа.  
Борис Ямпольский — Последняя встреча с Василием Гроссманом (вместо послесловия).

Игорь Бурихин — Три стихотворения из цикла «Мой дом слово».

Наум Коржавин — Психология современного энтузиазма.

Збигнев Стыпулковский — «Приглашение» в Москву.

Карл-Густав Штрём — Два портрета из Югославии.

Лев Шестов — Дневник мыслей.

Борис Бажанов — Побег из ночи (Из воспоминаний бывшего секретаря Сталина).

Густав Герлинг-Грудзинский — Семь смертей Максима Горького

Евгений Шифферс — Скульптурный алфавит мастера  
Э. Неизвестного.

Александр Бахрах — По памяти, по записям. Андре Жид.

Прот. А. Князев — Школа веры.

В. Рыбаков — Отражения времени.

М. В. — О времени и о себе.

М. Агурский — Безжалостная демифологизация.

Ф. Салказанова — «Левая» Франция.

В. Соколов — Дороги страдания.

Сол Беллоу — Интервью с самим собой.

Александр Солженицын — Выступление в Испании.

**Главный редактор журнала —**

**Владимир Максимов**

**Представитель в Израиле — Михаил Агурский. Рамот, 6/30, Иерусалим.**  
"Континент" выходит ежеквартально. Цена отдельного номера 12 ДМ., пересылка за счет заказчика. Годовая подписка 40 ДМ., включая пересылку.

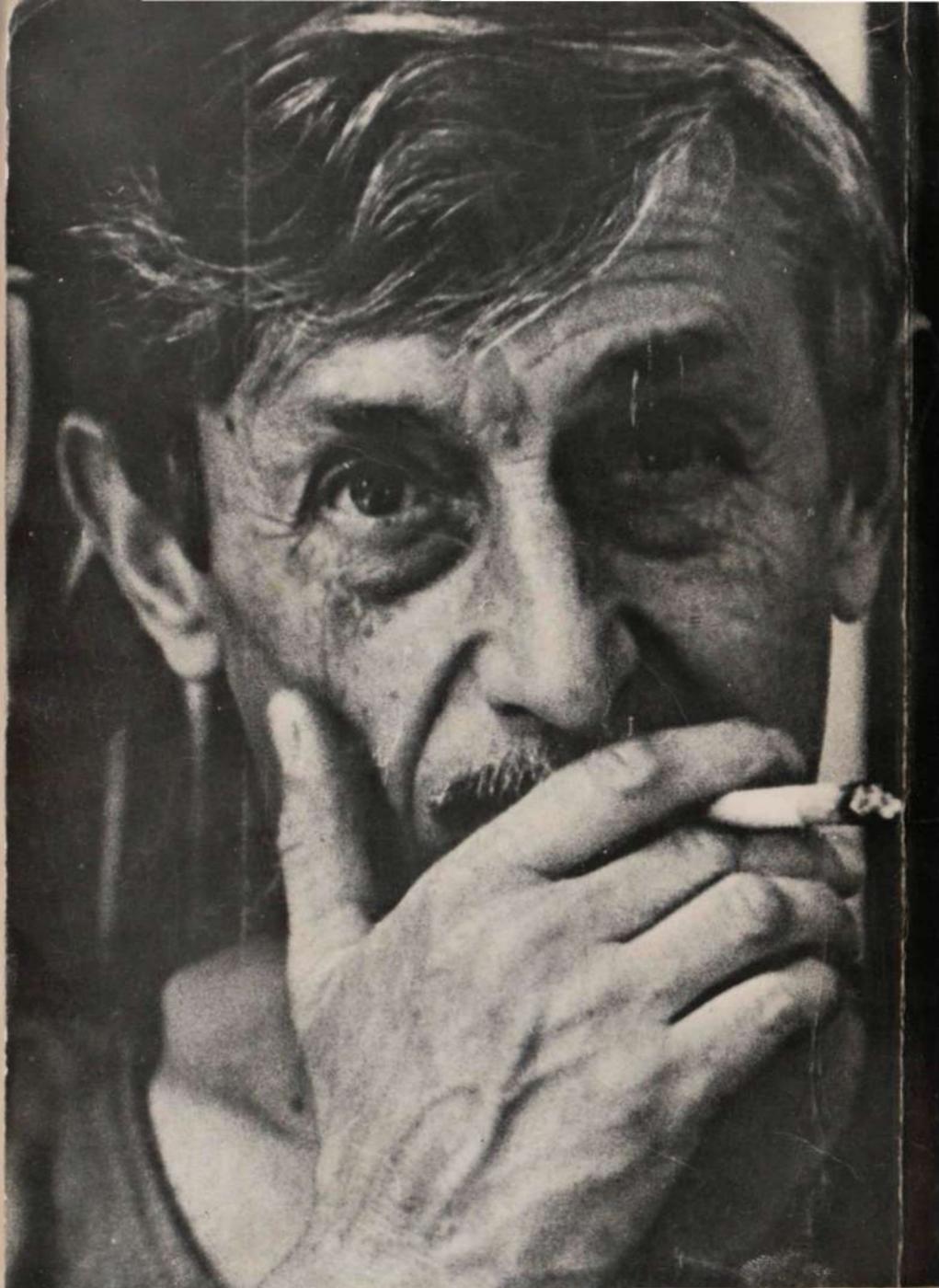
Художник Лев Ларский  
Корректор Нина Островская  
Технический редактор Наталия Ларская

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по поводу них редакция  
в переписку не вступает.

**Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9  
п. я. 24123, Тель-Авив.  
Тел.621085.**

**62/9 Nachmani st. T.A.**

**Tel: 621085.**



ПИСАТЕЛЬ ВИКТОР ПЛАТОНОВИЧ НЕКРАСОВ — ГОСТЬ ИЗРАИЛЯ